

НО Г. В. ПЛЕХАНОВ

РУССКИЙ РАБОЧИЙ
В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

(По личным воспоминаниям)

ПОЛИТИЗДАТ при ЦК ВКП(б)

1940

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воспоминания Г. В. Плеханова «Русский рабочий в революционном движении», относящиеся к семидесятым годам прошлого столетия, впервые были напечатаны в трехмесячном литературно-политическом обозрении «Социал-Демократ» (1892 г., кн. 3 и 4), издаваемом группой «Освобождение Труда» в Женеве.

Одновременно был выпущен отдельной брошюрой отиск из № 3 и 4 «Социал-Демократа». Этому изданию предпослано обращение Г. Плеханова «Лицам, произнесшим речи на собрании петербургских рабочих, состоявшемся по поводу всемирной демонстрации 1 мая».

В 1902 г. вышло второе, исправленное и дополненное автором издание, напечатанное в типографии «Искры». Этому изданию предпослано обращение, вошедшее в первое издание, и предисловие автора. Второе издание воспроизведено в Сочинениях Г. В. Плеханова (т. III, стр. 121—205), выпущенных Государственным издательством в 1923 г.

Вышедшее в издательстве «Пролетариат» без указания года и напечатанное в типографии И. Люндорф в Петербурге дореволюционное издание, как и пореволюционные издания — Отдела печати Московского совета в 1919 г., Государственного издательства в 1922 г. и киевского издательства «Більшовик» в 1923 г. — печатались по тексту «Социал-Демократа».

Текст настоящего издания дается по второму изданию 1902 г.

ЛИЦАМ, ПРОИЗНЕСШИМ РЕЧИ НА СОБРАНИИ ПЕТЕР-
БУРГСКИХ РАБОЧИХ, СОСТОЯВШЕМСЯ ПО ПОВОДУ
ВСЕМИРНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ

Дорогие и уважаемые товарищи,

Вам, продолжающим дело революционеров семидесятих годов, принадлежат по праву эти воспоминания, о которых я могу с чистой совестью сказать, что они написаны *совершенно правдиво*. Позвольте же мне посвятить их Вам и тем представить хоть слабое доказательство моего сочувствия Вашим стремлениям. Мы, социал-демократы, готовы поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего общественного порядка. Тем понятнее наше сочувствие Вам, решительно ставшим под *социал-демократическое знамя*, которое является теперь знаменем *революционного пролетариата всех стран*. У нас нет и не будет другой задачи, кроме посильного содействия развитию политического сознания русского рабочего класса. Вы поставили себе ту же самую задачу. Пойдем же вместе к нашей великой цели, пойдем без оглядок и без колебаний, поддерживаемые гордою уверенностью в том, что мера наших успехов будет мерой политического развития нашей родины. Ваш предшественник, рабочий Петр Алексеев, еще в 1877 г. смело сказал своим судьям, что, когда поднимется мускулистая рука рабочего, ярмо деспотизма, окруженное солдатскими штыками, разлетится в прах. К его словам можно и должно прибавить, что *только тогда и разлетится в прах ярмо деспотизма, когда поднимется мускулистая рука рабочего*.

Г. Плеханов.

Предисловие ко второму изданию

Народники семидесятых годов смотрели на крестьянство как на главную в России революционную силу, а на крестьянскую поземельную общину как на исходную точку развития нашей страны в сторону социализма. Развитие у нас товарного производства и крупной капиталистической промышленности представлялись им весьма плачевными явлениями, расшатывающими прочность старых «устоев» экономической жизни нашего народа и потому задерживающими приближение социальной революции. Поэтому деятельность в рабочей среде никогда не занимала широкого места в народнической программе: рабочими интересовались лишь в той мере, в какой считали их способными *поддержать* крестьянское восстание, которое, по мнению народников, должно было вспыхнуть вдали от промышленных центров, на окраинах, еще не позабывших крупных крестьянско-казацких бунтов и хранящих строго «народные идеалы»¹. Казалось бы, что при таком взгляде на рабочих народники могли не торопиться сближением с ними: прежде, чем браться за организацию вспомогательного отряда, естественно было озаботиться организацией главных сил будущей революционной армии, т. е. сил *крестьянства*. Но на самом деле народники занимались рабочими более, чем этого требовала их программа. Народники были энергичные люди, не любившие сидеть, сложа руки. Многие из них, попадая в города, сближались с рабочими, чтобы не терять даром времени.

¹ Этот взгляд на рабочих как на класс, способный играть лишь роль *вспомогательного отряда* революционной армии, целиком перешел от народников к народолюбцам (см. напечатанную в «Календаре Народной Воли» записку «Подготовительная работа партии», рубрика В—Городские рабочие). Оно и понятно. Народолюбцы педаром говорили о себе, что *по основным своим воззрениям они — социалисты-народники*.

И хотя такое сближение не могло быть систематичным, хотя в большинстве случаев сближавшиеся с рабочими народники принимали все меры к тому, чтобы как можно скорее покинуть город и уйти в деревню, но так как в каждое данное время в городах проживало немалое число народников и так как передовой слой городского рабочего класса и тогда уже был очень восприимчив к революционной пропаганде, то рабочее дело все-таки росло и расширялось, поражая самих деятелей своей неожиданной успешностью. Первым крупным плодом сближения народников с петербургским пролетариатом явилась так называемая Казанская демонстрация 6 декабря 1876 г. А к концу семидесятых годов у народнического общества «Земля и Воля» был уже довольно значительный опыт по части пропаганды, агитации и организации в среде рабочих.

В передовой статье, напечатанной в № 4 газеты «Земля и Воля», я подвел итоги этому опыту. Оказывалось, что «рабочий вопрос» все чаще и все настоятельнее напоминал о себе *вопреки* их народнической теории, выдвигавшей на первый план вопрос крестьянский. Но в то же время очевидно было и то, что революционеры еще далеко не приобрели всего того влияния на городскую рабочую массу, которое они *могли* приобрести. Это я объяснял тем, что они мало агитируют. Я говорил, что революционеры придают преувеличенное значение рабочим кружкам, в которых ведется *пропаганда* (читаются лекции о каменном веке и планетах небесных, как выразился я, иронизируя над пропагандистами), и не видят, что необходимо расшевелить *всю* массу. *Агитация на экономической почве*, — главным образом во время стачек, — *такова была ближайшая практическая задача, на которую я указывал тем из наших товарищей, «которые занимались с рабочими».*

Тогдашние члены общества «Земля и Воля» тем легче согласились со мной, что вопрос о приемах нашей революционной деятельности в крестьянской среде давно был решен в том же самом смысле: никому из наших «деревенщиков» не приходило в голову вести кружковую пропаганду между крестьянами; все они твердо были убеждены в том, что приобрести влияние на крестьянскую массу, они могут только посредством *агитации на почве ее ближайших*, — и преимущественно экономических, — *требований*. И это убеждение держалось среди наших революционеров вплоть до тех пор, пока так называемый *террор* не отвлек их внимания в другую сторону и пока между ними не

распространился тот взгляд, — впервые высказанный газетой «Народная Воля», — что при наших политических условиях работать в крестьянстве значит *бесплодно «бить-ся, как рыба об лед»*.

С половины восьмидесятых годов между революционерами, действовавшими в России, начали распространяться *социал-демократические идеи*. Распространение этих идей совершалось очень медленно — частью по причине общественной реакции, наступившей после того, как правительству удалось разгромить партию «Народной Воли», а частью потому, что старая народническая теория еще крепко сидела в головах русских людей, сочувствовавших социализму. И все-таки к началу девяностых годов, когда стали показываться первые слабые признаки нового общественного пробуждения, число социал-демократов было уже настолько значительно, что они задумываются о том, каким образом можно было бы им приобрести широкое практическое влияние на рабочий класс. Опыт семидесятых годов указывал на *агитацию*, как на неизбежный путь к этой цели. Но опыт семидесятых годов был совершенно неизвестен нашим молодым товарищам, крупнейшее большинство которых знакомо было тогда только с приемами *кружковой пропаганды*. Чтобы помочь этому горю, чтобы ознакомить молодых социал-демократов с практическими выводами, завещанными нам народнической эпохой, чтобы показать им, как можно и должно *агитировать*, я и написал свои воспоминания о русском рабочем движении семидесятых годов. Я думал, что, познакомив читателей с тем, что *было сделано их предшественниками*, я этим пролью некоторый свет на то, что *предстоит сделать им самим*. Но я не мог удовольствоваться простым рассказом. В конце семидесятых годов, когда я писал в «Земле и Воле» о необходимости *агитации на экономической почве*, я был народником до конца ногтей. В начале девяностых годов, когда я брался за перо, чтобы писать свои воспоминания, увлечение народничеством давно уже заменилось во мне критическим к нему отношением, потому что я давно уже стоял тогда на *социал-демократической* точке зрения. В качестве социал-демократа я хорошо видел то, чего не замечал прежде в качестве народника, именно то, что агитация на экономической почве может и должна быть использована агитаторами для политического воспитания рабочей массы. Читатель видит, что предлагаемые воспоминания содержат в себе также и сильное разъяснение этой стороны вопроса.

Я указываю на все это потому, что некоторые «сочинители» выдвигают теперь против меня в частности и против группы «Освобождение Труда» вообще упрек в том, что мы будто бы не понимали значения агитации, а потому не могли своевременно указать на него нашим молодым товарищам. Если бы гг. «сочинители» лучше знали историю нашего движения, то они сами без труда поняли бы, как нелепо их «сочинение».

Правда, еще очень недалеко от нас то время, когда *наши* взгляды на агитацию находили неправильным многие наши молодые товарищи, настойчиво противопоставлявшие ему взгляд, который был подробно изложен в известной брошюре «Об агитации». Я не стану разбирать здесь эту брошюру. Мое отношение к ней высказано еще очень недавно в статье «Еще раз социализм и политическая борьба», напечатанной в первой книжке «Зари». Замечу одно: последовательные защитники взгляда, изложенного в брошюре «Об агитации», скоро стали, — и неизбежно должны были стать, — «экономистами», между тем как взгляд группы «Освобождение Труда» разделяется теперь всеми мыслящими сторонниками «политического» направления. Оппозиция, которую некогда встречал этот взгляд в некоторой части наших социал-демократов, свидетельствовала лишь о том, что эти социал-демократы еще не вполне поняли не только ближайшую политическую задачу своей партии, но и вообще весь дух социал-демократической теории. И чем более и чем скорее сознавали они свои ошибки, тем более и тем скорее приближались они ко взглядам группы «Освобождение Труда».

Упрек, выдвинутый против нас вышеупомянутыми «сочинителями», совсем не заслуживал бы внимания, если бы они не считали себя призванными исправить и навестать то, что было будто бы упущено и будто бы испорчено нами и нашими ближайшими товарищами. Но именно под предлогом такого исправления и такого навестания эти господа, которые крайне бедны собственными идеями, но зато чрезвычайно богаты непониманием чужих идей, проповедают такой отчаянный вздор о «тактике-процессе» и об отношении экономической агитации к политической, что поистине заслуживают названия великих людей... по части путаницы понятий. Ну, а великих людей игнорировать невозможно; мы не имеем права обходить молчанием их упреки.

Но оставим пока гг. «сочинителей» и бросим взгляд на путь, пройденный русской социал-демократией с того

времени, когда вышло первое издание моих воспоминаний. В то время наши товарищи только еще спрашивали себя, можно ли и следует ли им перейти от *пропаганды к агитации*; теперь агитация приняла такие широкие размеры, о каких они тогда боялись и мечтали. В то время наши товарищи уже приобрели прочное и плодотворное влияние в рабочих *кружках*; теперь рабочая масса или, — выражаясь скромнее, но зато точнее, — *передовые слои рабочей массы* видят в них своих надежнейших руководителей и внимательно прислушиваются к их голосу. В то время наши товарищи только еще стремились занять господствующее положение в русской революционной среде; теперь это положение принадлежит им бесспорно, безраздельно и бесповоротно. И всего этого они достигли, *несмотря* на усердие полиции и на иудины поцелуи «критиков». Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит! За нас, русских социал-демократов, ворожит *бабушка-история*, и ее ворожба быстро подвинула вперед наше дело.

Известно, однако, что *noblesse oblige*. У кого есть такая знатная бабушка, тот и сам должен непрестанно «содержать себя в струне» и помнить, что на нем лежат великие обязанности. До сих пор наше дело подвигалось вперед очень быстро; но поступательное его движение наверное сильно замедлится в будущем, если мы не сумеем разрешить тех практических задач, которые выросли перед нами именно благодаря нашим огромным успехам. Самой важной из этих задач является, без всякого сомнения, *организация*. Вопрос о ней имеет теперь такое же решающее значение, какое лет десять тому назад имел вопрос *об агитации*. Он лежит в центре всех остальных практических вопросов настоящего времени. Не разрешив его, мы ни для одного из них не найдем вполне удовлетворительного решения. А когда он будет разрешен, они решатся, можно сказать, сами собой. Тогда нами будет сделан новый огромный шаг вперед, с которым начнется новая эпоха в истории нашей партии. Тогда даже наиболее упорные хулители русской социал-демократии вынуждены будут признать, что ей суждено собрать под свое знамя все живые силы революционной России. И тогда она будет иметь полное право сказать всякому искреннему революционеру, как говорил Иегова еврейскому народу:

«*Аз есмь господь бог твой, и да не будут боги инии разве мене!*»

Г. Плеханов.

РУССКИЙ РАБОЧИЙ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

(По личным воспоминаниям)

I.

Первый рабочий-революционер, с которым столкнула меня судьба, был довольно известный когда-то в русской революционной среде Митрофанов, впоследствии умерший в тюрьме от чахотки. Я познакомился с ним у студентов медицинской академии братьев Х. в конце 1875 г. Митрофанов был уже тогда «нелегальным» и жил у братьев Х., скрываясь от полиции. Как и все студенты-революционеры того времени, я, конечно, был большим народолюбом и собирался «итти в народ», понятие о котором было у меня, однако, — опять-таки как и у всех нас, студентов-революционеров того времени, — очень смутным и неопределенным. Любя «народ», я знал его очень мало, а лучше сказать не знал совсем, хотя и вырос в деревне. Когда я в первый раз встретился с Митрофановым и узнал, что он рабочий, т. е. один из представителей «народа», в моей душе шевельнулось смешанное чувство жалости и какой-то неловкости, точно будто я в чем-нибудь перед ним провинился. Мне очень хотелось заговорить с ним, но в то же время я решительно не знал, как и в каких выражениях стану с ним разговаривать. Мне казалось, что язык нашего брата-студента будет совершенно непонятен этому «сыну народа» и что в разговоре с ним я должен держаться того нелепого, переряженного слова, которым были написаны многие из наших революционных брошюр. К счастью, Митрофанов вывел меня из затруднения. Он заговорил первый, и, — не помню уже как, — разговор перешел на революционную литературу. Я увидел, что мой собеседник читал не одни только ряженные брошюры. Ему знакомы были сочинения Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним критически. Журнал и газета «Вперед!» казались ему недостаточно революционными. Он склонялся к «бунтарству» и отстаивал этот

способ действия с помощью тех же самых доводов, которые приводились обыкновенно «бунтарями»-студентами. Удивлению моему не было границ. Личность Митрофанова решительно не входила в узкие рамки моего сантиментального представления о «народе». Зато тем более заинтересовала она меня. Я стал часто встречаться с Митрофановым и жадно расспрашивал его об его революционной деятельности в народной среде. Из всех слоев народа ближе всего ко мне, по моему тогдашнему положению, были, конечно, петербургские рабочие, и вот я засыпал своего нового знакомого вопросами о том, что представляют они собою. Митрофанов относился к ним отрицательно. Из его слов выходило, что настоящий народ — это крестьянство, городские же рабочие в значительной степени развращены и проникнуты буржуазным духом, вследствие чего революционеры должны идти в деревню. Подобные отзывы, вполне соответствовавшие нашим собственным представлениям о народе, не могли возбудить во мне склонности к ближайшему знакомству с петербургской рабочей средой, и в течение нескольких месяцев Митрофанов оставался единственным, лично известным мне, рабочим. А между тем в то время велась в этой среде довольно деятельная пропаганда, в которой и мне пришлось вскоре принять посильное участие.

В самом начале 1876 г. случилось так, что не было подходящей квартиры для революционной рабочей сходки. У меня на Петербургской стороне была прекрасная, большая комната и очень добрая хозяйка-чухонка, решительно не понимавшая, что может быть предосудительного в многолюдных вечерних собраниях молодежи. Опасаться каких-либо доносов с ее стороны не было оснований. Напротив, «в случае чего», она первая постаралась бы предупредить и выручить из беды своего постояльца. Об этих доблестях моей хозяйки знали все мои знакомые революционеры, между которыми были люди, занимавшиеся пропагандой в среде рабочих. Разумеется, по доброму революционному обычаю люди эти до поры до времени держали свои занятия втайне от меня, непосвященного. Но так как у них не было причин не доверять мне, то они и открылись тотчас, как только им представилась надобность, — если не лично во мне, то в моей комнате. На вопрос, может ли собраться у меня рабочая сходка, я отвечал полнейшим согласием, и, не смотря на заимствованное от Митрофанова предубеждение против городских рабочих, с нетерпением ждал назначенного для сходки времени.

Дело было под какой-то большой праздник. Около 8 часов вечера ко мне пришло сначала человек 5—6 интеллигентных «революционеров», — некоторых из них я видел тогда в первый раз, — а затем стали собираться рабочие. Собрание было открыто, как это водилось, и, вероятно, до сих пор водится в России, без всяких формальностей. Частные беседы, подойдя к предмету сходки, мало-по-малу перешли в общий разговор, и каждый, желавший что-нибудь сказать, вставлял свое замечание, ни мало не спрашиваясь о том, кому в данную минуту «принадлежит слово». «Слово» принадлежало всем вообще и никому в частности. Благодаря этому прения много теряли в смысле порядка, но, с другой стороны, не мало выигрывали в смысле задушевности. Состоявшаяся у меня сходка имела важное значение. Как раз в то время вырабатывалась программа «бунтарей»-народников. Большинство революционеров из «интеллигенции» думало, что главные силы русской социалистической партии должны быть направлены на «агитацию на почве существующих народных требований», а за «пропаганду» стояли только так называвшиеся «лаврсты», люди мало деятельные и потому мало влиятельные в революционной среде. В качестве бунтарей, интеллигенты, собравшиеся у меня, старались склонить рабочих на путь «агитации». Рабочие вообще плохо схватывали отличительные признаки различных революционных программ; «интеллигенции» нужно было положить много труда, прежде чем тот или другой из них постигал, наконец, спорные программные вопросы, подобно Митрофанову, до тонкости. Но это я заметил уже впоследствии. Теперь же видел только, что на доводы бунтарей рабочие поддаются довольно туго. Нужно заметить, что у меня собрались лучшие, наиболее надежные и влиятельные люди из петербургских рабочих-революционеров. Многие из них уже подвергались преследованиям по делу о революционной пропаганде 1873—1874 гг. (из которого вырос потом знаменитый процесс 193-х) и, сидя в тюрьме, много учились и читали. По выходе на волю они опять горячо принялись за революционную деятельность, но смотрели на революционные рабочие кружки прежде всего как на *кружки самообразования*. Когда бунтари, излагая перед ними свои взгляды, выразили ту мысль, что «пропаганда» не имеет никакого революционного значения, рабочие горячо запротестовали.

— Как не стыдно вам говорить это, — с жаром воскликнул некто В., работавший, если не ошибаюсь, на

Василеостровском патронном заводе и только что оставивший Дом предварительного заключения, где он сидел по делу «чайковцев», — каждого из вас, интеллигентов, в пяти школах учили, в семи водах мыли, а ведь иной рабочий не знает, как отворяется дверь школы! Вам не нужно больше учиться, вы и так много знаете, а рабочим без этого нельзя!

— Не страшно пропасть за дело, когда понимаешь его, — говорил молодой, стройный рабочий В. Я., — а когда пропадешь неизвестно за что, это уже плохо. Мало хорошего добьетесь вы от такого рабочего, который ничего не знает!

— Каждый рабочий — революционер по самому положению своему, — возражали бунтари, — разве он не видит, не понимает, что хозяин наживается на его счет?

— Понимает, да плохо; видит, да не так, как следует, — стояли на своем рабочие. — Другому кажется, что иначе и быть не может, что так уж богу угодно, чтобы терпел рабочий. А вы покажите ему, что может быть иначе. Тогда он станет настоящим революционером.

Спор затянулся надолго. В конце концов обе стороны пошли на уступки. Решено было не пренебрегать *пропагандой*, но в то же время не упускать удобных случаев для *агитации*. Я уверен, впрочем, что рабочим было очень неясно тогда, какой именно «агитации» добиваются от них бунтари. Да и у самих бунтарей с этим словом соединилось тогда, я думаю, несколько смутное представление.

Как бы там ни было, споры прекратились; сходка могла считаться оконченной. Бунтари ушли, ушли также некоторые из рабочих, но большинство продолжало сидеть, деятельно занимаясь чаепитием. Кто-то сбегал за пивом, произошла легкая выпивка, и разговор принял шуточный характер. В. рассказывал разные смешные случаи из своей тюремной жизни, а В. Я., — тот самый В. Я., который говорил, что человек может с самоотвержением относиться только к понятному для него делу, — спел даже песню, сложенную, по его словам, колпинскими рабочими после каракозовского покушения. У меня осталось в памяти только начало этой песни:

«Каракозову спасибо, что хотел убить царя»...

Веселая компания засиделась у меня далеко за полночь, и я расстался со своими гостями, как со старыми приятелями.

Впечатление, произведенное ими на меня, было потрясающее. Я совершенно забыл мрачные отзывы Митрофа-

нова о петербургских рабочих. Я видел и помнил только то, что все эти люди, самым несомненным образом принадлежавшие к «народу», были сравнительно очень развитыми людьми, с которыми я мог говорить так же просто и, следовательно, так же искренно, как со своими знакомыми студентами. Мало того, на тех из них, которые уже отсидели известное время в тюрьме, я смотрел снизу, вверх: «я еще ничем не доказал своей преданности делу, а они уже успели постоять за него», — говорил я себе и смотрел на них почти с благоговением, как смотрит, вероятно, всякий искренний и молодой, не бывавший в переделках революционер на опытного, *пострадавшего за дело* товарища. Такое же впечатление вынес и я из знакомства с нелегальным Митрофановым, но Митрофанова я считал исключением; теперь я узнал, что подобных ему исключений много. Дело сближения с народом, прежде пугавшее меня своими трудностями, показалось мне теперь простым и легким. Не откладывая его в долгий ящик, я решил немедленно же и как можно ближе сойтись с моими новыми знакомыми. Поддержать раз завязавшиеся сношения с ними было тем легче, что некоторые из них дали мне свои адреса и звали к себе в гости.

Прежде всего я пошел к некоему Г., жившему, как оказалось, по соседству со мной. Г. был оригинальный человек, едва ли имевший в своем характере хоть одну из тех черт, которые «интеллигенция» того времени любила приписывать «народу». В нем не было и следа крестьянской непосредственности, крестьянской склонности жить и думать так, как жили и думали предки. При самых обыкновенных способностях он отличался редкой жаждой знания и поистине удивительной энергией в деле его приобретения. Работая на заводе по 10—11 часов в сутки и возвращаясь домой только вечером, он ежедневно просиживал за книгами до часу ночи. Читал он медленно и, как я заметил, не легко усваивал прочитанное, но то, что усваивал, знал очень основательно. Маленький, слабогрудый и бледный, безбородый, с небольшими, тонкими усиками, он носил длинные волосы и синие очки. В зимние холода он поверх короткого драпового пальто накидывал широкий плед и тогда уже окончательно выглядел студентом. Он и жил по-студенчески, занимая крошечную комнатку, единственный стол которой был завален книгами. Когда я короче познакомился с ним, я был поражен разнообразием и множеством осаждавших его теоретических вопросов. Чем

только не интересовался этот человек, в детстве едва научившийся грамоте! Политическая экономия и химия, социальные вопросы и теория Дарвина одинаково привлекали к себе его внимание, возбуждали в нем одинаковый интерес, и, казалось, нужны были десятки лет, чтобы при его положении хоть немного утолить его умственный голод. Меня и обрадовала и вместе как бы опечалила эта черта его характера. Почему обрадовала — это понятно без пояснений; опечалила же потому, что я был сильно проникнут тогда бунтарскими взглядами, а у бунтарей излишнее пристрастие к книге считалось недостатком, признаком холодного, неревOLUTIONного темперамента. Впрочем, по темпераменту Г., действительно, не был революционером. Он, наверное, всегда лучше чувствовал бы себя в библиотеке, чем на шумном политическом собрании. Но от товарищей он не отставал, а положиться на него можно было, как на каменную гору.

В сопровождении Г. я посетил почти всех остальных рабочих, бывших на вышеописанной сходке в моей комнате, а затем приобрел между ними много новых знакомых. Видя, как заинтересовало меня «рабочее дело», бунтари приняли меня в свой кружок, так что «занятия с рабочими» стали с тех пор моей революционной обязанностью.

II.

Само собою разумеется, что между рабочими, как и повсюду, я встречал людей, очень различавшихся между собою по характеру, по способностям и даже по образованию. Одни, подобно Г., читали очень много, другие так себе, не много и не мало, а третьи предпочитали книжке «умные» разговоры за стаканом чаю или за бутылкой пива. Но в общем вся эта среда отличалась значительной умственной развитостью и высоким уровнем своих житейских потребностей. Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут несколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал 1 руб. 25 коп. до 2 руб. в день. Разумеется, и на этот сравнительно хороший заработок не легко было существовать семейным людям. Но холостые, — а они составляли тогда между знакомыми мне рабочими большинство, — могли расходовать вдвое больше небогатого студента. Были среди них и настоящие «богачи», вроде механика С., ежедневный заработок которого доходил до 3 руб.

С. жил на Васильевском Острове вместе с В. (который на сходке у меня так горячо отстаивал пропаганду в рабочих кружках). Эти два друга занимали прекрасную меблированную комнату, покупали книги и любили иногда побаловать себя бутылкой хорошего вина. Одевались они, в особенности С., настоящими франтами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата-студента. Каждый из них имел для больших okazji хорошую черную пару и, когда облекаясь в нее, то выглядел «барин» гораздо больше любого студента. Революционеры из «интеллигенции» часто и горько упрекали рабочих за «буржуазную» склонность к франтовству, но не могли ни искоренить ни даже хотя бы отчасти ослабить эту будто бы вредную склонность. Привычка и здесь оказалась второй натурой. В действительности рабочие заботились о своей наружности не больше, чем «интеллигенты» о своей, но только заботливость их выражалась иначе. «Интеллигент» любил принарядиться по-«демократически», в красную рубаху или в засаленную блузу, а рабочий, которому засаленная блуза надоела и намозолила глаза в мастерской, любил, придя домой, одеться в чистое, как нам казалось, *буржуазное* платье. Своим часто преувеличенно-небрежным костюмом интеллигент протестовал против светской хлыщеватости; рабочий же, заботясь о чистоте и нарядности своей одежды, протестовал против тех общественных условий, благодаря которым он слишком часто видит себя *вынужденным* одеваться в грязные лохмотья. Теперь, вероятно, всякий согласится, что этот второй протест много серьезнее первого. Но в то время дело представлялось нам иначе: пропитанные духом аскетического социализма, мы готовы были проповедывать рабочим то самое «отсутствие потребностей», в котором Лассаль видел одно из главных препятствий для успеха рабочего движения.

Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были *горожанами* в лучшем смысле этого слова. Многие из нас держались тогда того мнения, что «спропагандированные» городские рабочие должны идти в деревню, чтобы действовать там в духе той или иной революционной программы. Мнение это разделялось и некоторыми рабочими. Я уже сказал, как исключительно стоял Митрофанов за деятельность в деревне. Такой взгляд

был непосредственным и неизбежным плодом нарождавшегося тогда народничества с его презрением к городской цивилизации, с его идеализацией крестьянского быта. Господствовавшие в среде революционной интеллигенции народнические идеи естественно налагали свою печать также и на *взгляды* рабочих. Но *привычек* их они переделать не могли, и потому настоящие городские рабочие, т. е. рабочие, совершенно свыкшиеся с условиями городской жизни, в большинстве случаев оказывались непригодными для деревни. Сойтись с крестьянами им было еще труднее, чем революционерам-«интеллигентам». Горожанин, если только он не «кающийся дворянин» и не совсем проникся влиянием дворян этого разряда, всегда смотрит сверху вниз на деревенского человека. Именно так смотрели на этого человека петербургские рабочие. Они называли его *серым* и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям. В этом отношении Митрофанов с его нелюбовью к городу представлял собою несомненное исключение из общего правила. Но Митрофанов по своей нелегальности долго жил среди «интеллигенции» и совершенно проникся всеми ее чувствами.

Нужно сказать и то, что между петербургскими рабочими «серый» деревенский человек нередко являл собою довольно жалкую фигуру. На Василеостровский патронный завод поступил, в качестве смазчика, крестьянин Смоленской губернии С. На этом заводе у рабочих было свое потребительное товарищество и своя столовая, служившая в то же время и читальней, так как она была снабжена почти всеми столичными газетами. Дело было в разгаре Герцеговинского восстания. Новый смазчик отправился есть в общую столовую, где за обедом газеты читались по обыкновению вслух. В тот день, — не знаю уж в какой газете, — шла речь об одном из «славных защитников Герцеговины». Деревенский человек вмешался в поднявшиеся по этому поводу разговоры и высказал неожиданное предположение о том, что «он, должно быть, любовник ейный».

— Кто? чей? — спросили удивленные собеседники.

— Да герцогинин-то защитник; с чего же бы стал он защищать ее, кабы промеж них ничего не было.

Присутствующие разразились громким хохотом. — «Так по-твоему Герцеговина не страна, а баба, — восклицали они, — ничего-то ты не понимаешь, прямая деревенщина!» — С тех пор за ним надолго установилось прозвище —

серый. Это прозвище очень удивило меня, когда я познакомился с ним глубокой осенью 1876 г. и когда он был уже убежденным революционером и самым деятельным пропагандистом.

— Почему вы так называете его? — спросил я рабочих.

— Да как же, ведь он какую штуку отмочил у нас в столовой; ведь он думал...

Последовал рассказ о герцогинином любовнике.

— Да что ж, ну, ошибся, — добродушно оправдывался смазчик, — ведь я что же понимал тогда?

Подобные происшествия подавали повод лишь к насмешке. Но между «серыми людьми» деревни и петербургскими рабочими происходили иногда недоразумения гораздо более печального свойства. По делу о пропаганде в 37 губерниях попал в тюрьму рабочий Б—н, родом из Новгородской или Петербургской губернии. Выпущенный после почти двухлетнего заключения, Б—н отправился на родину, если не ошибаюсь, для перемены паспорта. Тотчас по его приходе он был засажен в «холодную», а затем «старички» решили «постегать малого» за недоимки. Ему сообщили об этом решении, как о чем-то весьма обыкновенном и совершенно неизбежном.

— Да вы с ума сошли, — возопил Б—н, — да попробуйте только тронуть меня, я и деревню-то всю сожгу, да и вы-то голов не снесите: сам пропаду, да уж и вы пожалуете, что связались со мной!

«Старички» струсили. Они решили, что совсем ошалел их «острожник» и что лучше в самом деле с ним «не путаться». Так и ушел Б—н из родной деревни, не вкусив благодетельных лозанов. Но он уже никогда не мог забыть этого происшествия.

— Нет, — говорил он нам, — я попрежнему готов заниматься пропагандой между рабочими, но в деревню я никогда и ни за что не пойду. Незачем. Крестьяне — бараны, они никогда не поймут революционеров.

Я не раз замечал, что на телесное наказание рабочие смотрят, как на крайнюю степень унижения человеческого достоинства. Иногда они с негодованием показывали мне газетные сообщения о порках крестьян, и я всегда затруднялся решить, что больше возмущает их: свирепость истязующих или безответная покорность истязуемых.

Когда сложившееся в 1876 г. общество «Земля и Воля» стало заводить свои революционные поселения в «народе», нам удалось склонить к переезду в Саратовскую губернию

некоторых петербургских рабочих. Это были испытанные люди, искренно преданные народническим идеалам и глубоко проникнутые народническими взглядами. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням с целью высмотреть подходящее место для своего поселения (причем некоторые из них были приняты за немцев), они махнули рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Саратов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчужденность от «народа» его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу.

Прошу читателя иметь в виду, что я говорю здесь о так называемых *заводских* рабочих, составлявших значительную часть петербургского рабочего населения и сильно отличавшихся от *фабричных*, как по своему сравнительно сноскому экономическому положению, так и по своим привычкам. Фабричный работал больше заводского (12—14 часов в сутки), а зарабатывал значительно меньше: рублей 20—25 в месяц. Он носил ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над которыми подсмеивались заводские. Он не имел возможности нанимать отдельную квартиру или комнату, а жил в общем артельном помещении. У него были более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знал и читал гораздо меньше, чем заводской, и вообще был ближе к крестьянину. Заводской рабочий представлял собой что-то среднее между «интеллигентом» и фабричным; фабричный — что-то среднее между крестьянином и заводским рабочим. К кому он ближе по своим понятиям, — к крестьянину или к заводскому, — это зависело от того, как долго прожил он в городе. Только что пришедший из деревни фабричный, разумеется, оставался в течение некоторого времени настоящим крестьянином. Он и жаловался не на хозяйскую прижимку, а на тяжелые подати да на крестьянское малоземелье. Пребывание в городе казалось ему временной и притом очень неприятной необходимостью. Но мало-по-малу городская жизнь подчиняла его своему влиянию; незаметно для себя он приобретал привычки и взгляды горожанина. Проработав в городе несколько лет, он уже плохо чувствовал себя в деревне и неохотно возвращался в нее, в особенности, если ему удавалось столкнуться с «умственными» людьми, столкновения с которыми возбудили в нем интерес к книге. Я знавал таких фабричных, которые, будучи принуждены

вернуться на время домой, ехали туда как в ссылку, а возвращались назад, подобно заводскому рабочему Б—ну, решительными недругами «деревенщины». Причина была всегда одна и та же: деревенские нравы и порядки становились невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться. И чем даровитее был рабочий, чем больше думал и учился он в городе, тем скорей и решительней разрывал он с деревней. Фабричный, несколько лет принимавший участие в революционном движении, обыкновенно не мог и нескольких месяцев выжить у себя на родине. Иногда отношения таких рабочих к их старикам-родителям принимали поистине трагический характер. «Отцы» горько плакались на непочтительность «детей», а дети с тяжелым сердцем убеждались, что стали в семье совершенно чужими, и их неудержимо тянуло в город, в тесные, дружеские кружки товарищей-революционеров.

Едва ли нужно объяснять, где лежит причина лучшего экономического положения заводских рабочих. Она заключается в свойствах их труда. Можно легко и скоро научиться хорошо работать на фабрике, — на прядильном или на ткацком станке. Для этого достаточно нескольких недель. Но для того, чтобы сделаться столяром, токарем или слесарем, нужно по крайней мере около года. Рабочий, знающий одно из этих ремесл, считается уже «мастеровым человеком», и именно такие мастера нужны для заводов¹. Несомненно также, что не остаются без влияния в этом случае и наши знаменитые «устои». Нужда и необходимость платить подати, часто во много раз превышающие доходность крестьянских наделов, ежегодно выгоняют из деревень массу «общинников», которые со всех сторон стремятся на фабрики, своим соперничеством страшно понижая заработную плату. На заводах этот наплыв менее ощутителен, так как туда редко удастся попасть человеку без специальной подготовки. Притом же многие из заводских рабочих — городские мещане, т. е. люди, имеющие редко достаемое счастье на долю русского работника быть пролетариями и потому не обязанные прямыми платежами по отношению к государству. Разумеется, и одного голода более чем достаточно для того, чтобы поставить продавца рабочей силы в условия, очень невыгодные для

¹ Само собою разумеется, что я не говорю здесь о кирпичных, сахарных и им подобных заводах, на которых работают совсем «серые» люди.

ее продажи. Но у «крепких земле» фабричных к голоду присоединяется еще и *податной гнет*. Государство сперва связывает им руки, а потом предоставляет им бороться с нуждой, как они умеют.

В качестве коренных горожан многие заводские рабочие с детства имеют гораздо больше средств к образованию, чем фабричные. Между знакомыми мне заводскими рабочими я не встречал людей, совершенно не бывших в школе. Одни из них учились в обыкновенных городских первоначальных школах, другие в школах Технического и Человеколюбивого обществ. Я совсем не знаком со школами Человеколюбивого общества (слышал только от рабочих, что одна из них имеет несколько классов), но школы Технического общества известны мне очень хорошо. Бедно обставленные, они все-таки недурно делают свое дело, обучая заводскую молодежь чтению, письму и арифметике. Для взрослых рабочих в этих школах устраиваются, — или по крайней мере устраивались, — субботние (вечерние) и воскресные (утренние) чтения по космографии и по другим естественным наукам. На чтения эти всегда являлась многочисленная публика, и нужно было видеть, с каким вниманием слушала она учителя! Я сам не раз был свидетелем того, как после урока пожилые рабочие подходили к учителю и горячо благодарили его за труд: «очень уж интересно, — говорили они, — большое вам спасибо ото всех нас». На некоторых заводах рабочие-пропагандисты сделали такое замечание: если человек не ходит на чтения, то на него надежды мало; и наоборот, чем внимательнее следит он за ними, тем с большей уверенностью можно сказать, что он станет со временем надежным революционером. Этой приметой они неизменно руководствовались в деле привлечения к своим кружкам новых членов.

Некоторые из заинтересовавшихся книжкой рабочих не прочь были иногда и сами взяться за перо. На Василеостровском патронном заводе в течение некоторого времени рабочими велся рукописный журнал, — род резкой сатирической летописи заводской жизни. Доставалось в нем больше всего заводскому начальству, но иногда бич рабочей сатиры хватал и выше. Так, например, помню, журнал доводил до сведения своих читателей, что в правительственных сферах обсуждается проект закона, в силу которого будут получать особые награды предприниматели, в течение года изувечившие на своих фабриках и заводах наибольшее число рабочих («награды будут соразмерны

количеству оторванных пальцев, рук и носов», — говорилось в этом сообщении). Эта горькая насмешка метко характеризовала положение дел в стране, законодательство которой, заботливо охраняя интересы нанимателей, самым беззастенчивым образом пренебрегает интересами нанимаемых.

Рабочая молодежь, подростки и дети, насколько я заметил, отличаются гораздо большей самостоятельностью, чем молодежь высших классов. Жизнь в более раннем возрасте и большею суровостью толкает их на борьбу за существование, чем и налагает особую печать находчивости и закаленности на тех из них, которым удается спастись от преждевременной гибели. Я знал тринадцатилетнего мальчугана, круглого сироту, который, работая в Галерной гавани на заводе Макферсона, жил один-одинешенек, повидимому, не чувствуя ни малейшей нужды в какой-либо посторонней поддержке. Он сам рассчитывался с конторой и сам, без чужих указаний, умел соблюдать равновесие в своем маленьком бюджете. Не знаю, был ли у него опекун: это как-то слишком нежно для рабочего; но если и был, то, наверное, не много имел хлопот с опекаемым.

Столкновения с мастерами и хозяевами развивают в рабочей молодежи замечательное единодушие. Весной 1878 г., во время стачки на Новой Бумагопрядильне, было арестовано и посажено в участок несколько малолетних фабричных. Товарищи их, такие же малолетние и такие же «бунтовщики», как и арестованные, немедленно отправились толпой в участок, требуя их освобождения. Вышла своеобразная детская демонстрация. Взрослые рабочие не принимали в ней никакого участия. Они только наблюдали ее издали: «Вишь как наши ребятишки-то действуют, — одобрительно говорили они, — ничего, цуцай учатся». Впрочем; в данном случае учиться ребятишкам было нечему: они и без того принимали в стачке самое деятельное и самое полезное участие, прекрасно понимая, в чем дело. Когда на обширном дворе Бумагопрядильни происходили большие собрания стачечников, малолетние играли обыкновенную роль казачьих разведов. Они каким-то чутьем узнавали о приближении неприятеля и немедленно доводили о нем до сведения старших. «Пристав едет! пристав едет!», — со всех сторон кричали звонкие детские голоса, и, извещенное во-время, собрание расходилось. Когда пристав появлялся на место действия, то хватать было уже некого. Взрослая полиция Александра II страшно

злوبيлась на эту малолетнюю полицию рабочих. Многие из этих маленьких стачечников были подвергнуты тогда «исправительному наказанию при полиции». Не думаю, однако, чтобы наказание «исправило» их в желательном для начальства смысле.

Много интересного мог бы подметить в рабочей среде такой тонкий наблюдатель, как Г. И. Успенский. Но наши народники-беллетристы обыкновенно не обращали на нее никакого внимания. Для них «народ» кончался там, где исчезала крестьянская непосредственность, и где завещанная предками философия Ивана Ермолаевича¹ разлагается под влиянием пробудившейся мысли работника. Правда, в семидесятых годах этим грехом грешны были не одни беллетристы-народники и вообще не одна «легальная» литература. «Нелегальные» писатели с своей стороны немало содействовали ложной идеализации крестьянства и торжеству самобытных теорий «русского социализма», никогда не умевшего взглянуть на рабочий вопрос с правильной точки зрения. Проникнутые народническими предрассудками, все мы видели тогда в торжестве капитализма и в развитии пролетариата величайшее зло для России. Благодаря этому наше отношение к рабочим всегда было двойственным и совершенно непоследовательным. С одной стороны, в своих программах мы не отводили пролетариату никакой самостоятельной политической роли и возлагали свои упования исключительно на крестьянские бунты, а с другой — мы все-таки считали нужным «заниматься с рабочими» и не могли отказаться от этого дела уже по одному тому, что оно, при несравненно меньшей затрате сил, оказывалось несравненно более плодотворным, чем наши излюбленные «поселения в народе». Но, идя к рабочим не то чтобы против воли, а, так сказать, *против теории*, мы, разумеется, не могли хорошо выяснить им то, что Лассаль называл *идеей рабочего сословия*. Мы проповедывали им не социализм и даже не либерализм, а именно тот переделанный на русский лад бакунизм, который учил рабочих презирать «буржуазные» политические права и «буржуазную» политическую свободу и ставил перед ними,

¹ *Примечание ко второму изданию.* Нынешнему читателю не мешает, пожалуй, напомнить, что Иван Ермолаевич есть герой одного из очерков Г. И. Успенского. Это чрезвычайно художественный тип «настоящего» русского крестьянина доброго старого времени. Он заключает в себе ответ на многие «проклятые» вопросы русской истории.

в виде соблазнительного идеала, допотопные крестьянские учреждения. Слушая нас, рабочий мог проникнуться ненавистью к правительству и «бунтарским» духом, мог научиться сочувствовать «серому» мужику и желать ему всего лучшего, но ни в каком случае не мог он понять, в чем заключается его собственная задача, социально-политическая задача пролетария. До этого ему приходилось додумываться собственным умом, и читатель увидит ниже, что, когда рабочие додумались до этого, то ужаснули всех правоверных «интеллигентов»¹.

Здесь надо оговориться. Сказанное мною об отношениях интеллигенции к рабочему вопросу касается только бунтарей-«землеольцев» и лиц, стоявших на их, т. е. на народнической, точке зрения. Рядом с ними действовали еще «лавристы». Люди этого направления были тогда в меньшинстве и быстро сходили со сцены. Но надо отдать им справедливость: *их* пропаганда, вероятно, была разумнее нашей. Правда, и они, подобно нам, отрицали «буржуазную» политическую свободу, и они — по крайней мере, многие из них — готовы были трепетать за участь «устоев». В их взглядах было тоже много непоследовательности, но *их* непоследовательность имела одну счастливую особенность: отрицая «политику», они с величайшим сочувствием относились к немецкой социальной демократии. Нельзя быть высокого мнения о логичности человека, отрицающего «политику» и в то же время сочувствующего названной мною *политической* рабочей партии. Но своими рассказами о ней такой человек может заронить семя здоровых понятий в другие головы, которые, при благоприятных обстоятельствах, сумеют вполне усвоить социал-демократическую программу или хотя приблизиться к ней в большей или меньшей степени. В таком случае за ним

¹ *Примечание ко второму изданию.* Противники социал-демократов нередко говорят им теперь: «Не вы первые обратились к рабочим. Революционеры начали действовать в рабочей среде раньше, чем возникла социал-демократия». С одной стороны, это верно, как показывают, между прочим, и мои воспоминания о рабочем движении семидесятых годов, т. е. того времени, когда в нашей революционной среде господствовали *народнические* взгляды. Но вопрос не в том, действовали или нет в рабочей среде русские революционеры до возникновения социал-демократии, а в том, *как они действовали и какое место отводилось в их программах деятельности этого рода.* Наши противники охотно забывают об этом, а в этом — самое главное: действовать в среде пролетариата, не отводя ему никакой самостоятельной роли в общественном развитии, значит *не развивать, а запутывать его классовое самосознание.*

останется все-таки не малая заслуга. Именно такую заслугу и нужно признать за лавристами. Вспоминая теперь лекции, читанные в рабочих кружках «бунтарями», я думаю, что существенную пользу рабочие могли выносить только из лекций по политической экономии покойного И. Ф. Фесенко. Этого, к сожалению, слишком рано умерший человек, хорошо знал выбранный им предмет и умел излагать его общедоступно и увлекательно. Но его лекции продолжались всего несколько месяцев. С его отъездом из Петербурга политическая экономия была у нас совсем заброшена; на первый план выступили «очерки из русской истории», сводившиеся, главным образом, к рассказам о бунтах Разина, Булавина и Пугачева, да отчасти к истории крестьянства (преимущественно по известной книге Беляева «Крестьяне на Руси»). Для уразумения рабочего вопроса эти «очерки» ничего не давали. Иногда мы говорили своим слушателям и о Международном обществе рабочих, но в качестве «бунтарей», разумеется, превозносили деятельность Бакунина, а «централистов», т. е. сторонников Маркса и Энгельса, изображали довольно-таки злыми реакционерами. Такое освещение истории Международного общества не могло содействовать политическому развитию наших слушателей. У лавристов было хорошо хоть то, что они изображали не в превратном виде западно-европейское рабочее движение, и под влиянием их рассказов русский рабочий мог лучше выяснить себе свою собственную задачу. Если в программе образовавшегося зимою 1878—1879 гг. Северно-русского рабочего союза сильно слышалась социал-демократическая нота, то это, кажется, в значительной степени нужно приписать влиянию лавристов.

Но вообще в роли лектора тогдашний [✓]интеллигент-революционер был не блестящ по той простой причине, что знал он мало, а то, что знал, не всегда понимал, как следует. Он полезен был рабочим больше в качестве удалого доброго молодца, способного и книжку запрещенную достать, и паспорт сделать, и устроить подходящую квартиру для тайных собраний, словом, научить всем тонкостям «конспиративного» дела. Он шевелил, будил и увлекал вперед рабочих своей подвижностью, своим самоотвержением, своей удалью и своей безграничной склонностью ко всяческому «отрицанию». Хотя многие, — в особенности более развитые, — рабочие иногда скептически относились к интеллигенту, но обойтись без этого незаменимого фак-

тора «конспирации» они не могли. Под влиянием Халтурина и его ближайших товарищей рабочее движение Петербурга в течение некоторого времени стало совершенно самостоятельным делом самих рабочих. Но и Халтурина постоянно приходилось обращаться к интеллигенции за помощью то в том, то в другом практическом деле.

Какие книги больше всего читались в рабочей среде? Во всяком случае не те революционные брошюры, — сказки о четырех братьях и о копейке, Мудрица Наумовна и пр., — которые в особенности предназначались революционерами для народа. Все они так бедны содержанием, что удовлетворить хоть сколько-нибудь грамотного рабочего не могли. Они годились разве только для ничего не читавших новичков, да и по отношению к тем служили больше пробным камнем их настроения: если рабочий, прочитав такую книжку, не испугался, значит — из него будет толк, значит — верноподданнические чувства и «страх иудейский» сидят в нем не глубоко; если струсил, значит — иди от него подальше или, по крайней мере, будь с ним осторожнее. Но раз вы убедились в революционном настроении рабочего, вы должны были — или доставлять для его чтения более серьезный печатный материал, или в личной беседе отвечать на возникавшие в его голове вопросы. Только изданная в Женеве книга «Сытые и голодные», анархическая и по духу и по литературному исполнению, да еще, пожалуй, «Хитрая механика» считались рабочими более основательным чтением. На все остальные революционные брошюры для народа они смотрели как на нечто слишком уже элементарное. «*Это для серых*», — говорили о них заводские рабочие. Вообще я заметил, что, читая книжку, изданную специально для «народа», способный рабочий чувствует себя как бы несколько униженным, поставленным в положение ребенка, читающего детскую сказку. Ему хочется поскорее перейти к сочинениям, предназначенным для всех вообще толковых читателей, а не только для «серого» народа. Для многих рабочих чтение серьезных и даже ученых книг было своего рода вопросом чести. Я помню некоего И. Е., здорового молотобойца из Архангельской губернии, который с усердием, достойным более подходящего для него чтения, сидел по вечерам над «*Основами биологии*» Спенсера. «*Что это, вы думаете, что уж мы, рабочие, совсем дураки*», — сердито отвечал он мне, когда я советовал ему взять что-нибудь полегче. Такие рабочие охотно читали все, что печаталось

революционерами для интеллигенции: «Государственность и анархию» Бакунина, «Вперед!», «Общину», «Землю и Волю», переизданную в Петербурге брошюру г. Драгоманова «До чего довоевались?» и т. п. Но тут являлась новая беда. В революционных изданиях «для интеллигенции» много и часто говорилось о таких вещах, которые не могли иметь большого интереса для рабочего. Таковы были, например, специально «интеллигентные» вопросы о «долге образованных классов народу» и о вытекающих из этого долга нравственных обязательствах, об отношении революционеров к «обществу» и споры о «программах», т. е., иначе сказать, споры о том, как легче и удобнее воздействовать на народ и, между прочим, на того же рабочего. К таким программным спорам, как уже сказано и как это, впрочем, понятно само собою, рабочие относились довольно равнодушно, хотя для них было далеко не все равно, в какую сторону направится их собственная революционная деятельность.

— Нет, не для нас этот журнал, наш журнал должен вестись совсем иначе, — часто говорил мне Халтурин по поводу издававшейся тогда в Петербурге «Земли и Воли». И он был, разумеется, совершенно прав. «Земля и Воля» — как и «Община»; как и «Вперед!» — не могла быть рабочей газетой ни по содержанию, ни по направлению.

Спрашивая рабочих, чего именно требуют они от революционной литературы, я получал самые разнообразные ответы. В большинстве случаев каждому из них хотелось, чтобы она разрешила вопросы, почему-нибудь занимавшие его в данное время. А вопросов этих через голову мыслящих рабочих проходило многое множество, и у каждого рабочего, смотря по его наклонностям и характеру ума, были свои излюбленные вопросы. Один больше всего интересовался вопросом о боге и утверждал, что революционная литература должна направить главные свои усилия на разрушение религиозных верований народа. Других интересовали преимущественно исторические, политические или естественно-научные вопросы. В числе моих приятелей-фабричных был даже такой, которого особенно занимал женский вопрос. Он находил, что рабочие не уважают женщины и обращаются с ней как с низшим существом. По его словам, многие женатые рабочие даже удаляли своих жен, когда гости их заводили революционные разговоры: не пужно, мол, путать баб в это дело. Поэтому у женщин не было никаких общественных интересов, что в свою оче-

редь вредно отзывалось на мужчинах, которых они по своей неразвитости всегда старались отвлечь от опасного революционного дела. Мой приятель никогда не упускал случая «спропагандировать» женщину и всеми силами старался заводить особые революционные кружки между работницами. Своим товарищам он очень энергично, т. е. не отступая перед употреблением крепкого слова, внушал достойные развитых людей взгляды на женщин. Занятый своей идеей, он, естественно, требовал помощи от революционной литературы и сожалел, что она слишком мало занимается женским вопросом.

Замечу мимоходом, что этот горячий сторонник женского освобождения принадлежал к числу тех фабричных, для которых жизнь в деревне стала совершенно невыносимой. Когда я познакомился с ним, он был еще очень молодым парнем, но считался уже «старым» революционером, так как был «спропагандирован» еще чайковцами. В 1873 или 1874 г., совсем мальчиком, попал он в Дом предварительного заключения (*задушения*, как говорили «политические»), где прекрасно держал себя и пристрастился к чтению. По выходе на волю он не раз ездил в Тверскую губернию к своим родным, но ладу с ними у него уже не было. Они называли его студентом и считали пропащим человеком. Он поражал их и привычками, и взглядами, и непочтительным отношением к начальству. Впрочем, они утешали себя пословицей: женится — переменится, и едва стукнуло ему восемнадцать лет, «приглядели» ему невесту. А он как раз в это время увлекся женским вопросом и не допускал даже мысли о том, что порядочный человек может жениться на незнакомой женщине. Чтобы избежать бесполезных столкновений, он решил совсем не заглядывать на родину. Родина со своей стороны решила, что парень вконец «избаловался»; не знаю уж, согласились ли бы с нею в данном случае наши народники.

Между работницами Петербурга было несколько революционерок, случались у них даже стачки (на табачных фабриках), но вообще в тогдашнем рабочем движении женщины стояли действительно на самом заднем плане. Некоторые заводские рабочие-революционеры не женились прямо потому, что в окружавшей их среде не было подходящих для них женщин. «Наши бабы совсем дуры, а интеллигентки за нашего брата не пойдут, им подавай студентов», — не без горечи говаривали такие рабочие.

Думаю, что и в этом случае в них сказывалось не городское «баловство», а серьезное нравственное развитие.

Я вовсе не намерен идеализировать условия современной городской жизни: довольно уж мы упражнялись в ложной идеализации. Я видел и знаю отрицательные стороны этой жизни. Попадая из деревни в город, рабочий иногда действительно начинает «пошалить». В деревне он жил по завету отцов, без рассуждений подчиняясь их истари установившимся обычаям. В городе обычаи эти сразу теряют смысл. Чтобы человек не лишился всякого нравственного мерила, они необходимо должны замениться новыми обычаями, новыми взглядами на вещи. Такая замена постепенно и происходит в действительности, так как уже одна неизбежная и повседневная борьба с хозяином налагает на рабочих взаимные нравственные обязательства. Но «пока что», пока еще рабочий не успел проникнуться новой моралью, он все-таки переживает нравственный перелом, выражающийся иногда в довольно некрасивом поведении. Здесь повторяется то, что переживает всякий общественный класс, всякое общество при переходе от узких патриархальных порядков к другим, более широким, но зато более сложным и более запутанным. Рассудочность вступает в свои права и, «закусив удила», приводит тотчас к антисоциальным выводам. Рассудок вообще способен ошибаться сильнее, чем «объективный разум» обычая. За это он и проклинается всеми охранителями. Но до тех пор, пока люди будут идти вперед, неизбежной останется и периодическая ломка обычаев. И как ни «балуются» иногда во время такой ломки рассудок, но его ошибок не поправишь охранением отживших порядков. Поправляет их обыкновенно дальнейший ход самой жизни. Чем больше развиваются новые порядки, тем яснее становятся для всех и каждого обусловленные ими новые нравственные требования, мало-по-малу приобретающие прочность обычая, который и сдерживает затем излишнее «баловство» рассудка. Таким образом, отрицательные стороны развития устраняются его собственными положительными приобретениями, и роль мыслящего человека в этом неизбежном историческом движении определяется сама собою.

Я знал одного молодого фабричного, который был вполне честным малым, пока его не коснулась революционная пропаганда. Но как только ему сделались известными социалистические нападки на эксплуататоров, он начал «палить», считая позволительным обманывать и обкрадывать

людей, принадлежащих к высшим классам. «Все равно, у нас же накрали», — возражал он на упреки товарищей, которым откровенно показывал и предлагал братски разделить попавшуюся под руку добычу. Будь известен этот случай покойному Достоевскому, он, конечно, не преминул бы уколоть им глаза революционерам в «Братьях Карамазовых», где вывел бы упомянутого парня рядом со Смердяковым, этой жертвой «интеллигентного» свободо-мыслия, или в «Бесах», где, как известно, «что ни шаг, то ужас». Интересно, что сами товарищи, едва ли когда читавшие произведения Достоевского, стали звать воро-ватою малого *Бесом*. Но в подвигах *Беса* они не винили ни интеллигенции вообще, ни социалистической пропа-ганды в частности. Они своим влиянием старались, так сказать, доделать нравственную личность этого юноши и научить его бороться против высших классов не в каче-стве обманщика и вора, а в качестве революционного аги-татора. Я скоро упустил Беса из виду и не знаю, разре-шился ли в благоприятную сторону переживавшийся им тогда нравственный перелом. Но что благоприятный исход был вполне возможен, за это ручается, между прочим, то неодобрение, которое встречали его подвиги со стороны всех окружавших его рабочих-революционеров.

III.

В настоящее время в среде «интеллигенции» много спорят о возможности революционной пропаганды между ра-бочими¹. Я думаю, что всякий, кто хоть немного сталки-

¹ *Примечание ко второму изданию.* Теперь об этом уже перестали спорить. Теперь все признают возможность такой пропаганды (равно как и *агитации*). Но когда я писал эти воспоминания, этот вопрос мог считаться решенным лишь в *отрицательном смысле*. Не далее как в 1889 г. г. В. Жук в «Свободной России», выходявшей под редакцией Вл. Бурцева и Вл. Дебагория-Мокриевича, писал: «...Даже успешная пропаганда среди отдельных развитых рабочих не занимает той массы жертв, которых требует. В большинстве же случаев рабочие, принимавшие так или иначе участие в революционном движении, приходя в столкновение с властями в тюрьме, падали духом и не могли стойко защищать свои убеждения, которые, казалось, ими так хорошо вос-приняты на воле. Аресты среди рабочих вели обыкновенно за собою и разрушение революционных организаций, имевших соприкосновение с ними. Конечно, жестоко и несправедливо было бы обвинять рабочих в этом (добрый, справедливый г. В. Жук! — *Г. П.*), так как им негде было взять того мужества и той нравственной крепости, которые даются образованием и развитием» («Свободная Россия», № 1, стр. 37, 2-я колонна). Я надеждающим образом заклею это удивительное

вался с русскими рабочими, знает, как внимательно и как сочувственно относятся они к этой пропаганде. Говорят, что пропаганда встречает теперь непреодолимые препятствия со стороны полиции. Но слишком часто говорят это люди, не давшие себе труда сделать хоть одну серьезную попытку в этом направлении. Иногда ссылаются, правда, и на «опыт». Но опыт опыту рознь. Без умения невозможно никакое революционное дело, а умелых людей не остановит никакая полиция. Общество «Земля и Воля» во все время своего существования вело деятельные сношения с рабочими через посредство некоторых из своих членов. И замечательно, что за все это время собственно рабочее дело привело у нас *только к одному*, — да и то незначительному, — «провалу»: по доносу рабочего арестован был в 1878 г. наш товарищ И., занимавшийся пропагандой на одной из московских фабрик. Многочисленные аресты рабочих, имевшие место весною того же года в Петербурге, аресты, благодаря которым в руки полиции попались покойный Хазов («Дедушка») и некоторые другие наши товарищи, причинены были самой же интеллигенцией. Именно «нелегально» живший тогда в Москве Хазов попросил студентов Петровской академии спрятать кое-какие «конспиративные» бумаги. Те зарыли порученный им пакет в академическом саду, но зарыли, как оказалось, нехорошо и неглубоко. Какая-то некстати любопытная собака вырыла его из-под земли, а какой-то, к сожалению, слишком проницательный верноподданный, ознакомившись с его содержанием, представил его по начальству. Неожиданная находка оказалась настоящим кладом для полиции, которая тотчас же арестовала Хазова и кое-кого из его московских друзей. Как часто бывает в подобных случаях, эти аресты дали повод для новых; «провалы» распространились на Петербург, где особенно пострадали многочисленные и хорошо сплоченные рабочие кружки Галерной гавани. Наши

мнение в предисловии к нашему изданию речи Алексева (Женева, 1889 г.). Но современному читателю трудно было бы даже и представить себе, какую бурю вызвало это предисловие в заграничных русских колониях! Меня готовы были предать анафеме; против меня писали «протесты». Теперь за это предавать меня анафеме никто не станет. Но, разумеется, для анафемы и для «протестов» может найтись другой, столь же подходящий повод. Я очень хорошо знаю это и нимало этим не смущаюсь. *Общественное мнение — великое дело; но наш брат революционер должен уметь плавать против течения. Без такого умения он никуда не годится, без него он революционер только по имени.*

потери были тогда очень серьезны, но мы понимали, что должны винить самих себя, а не рабочих.

В сношениях с рабочими «землевольтцы» всегда держались следующих приемов. Те члены организации, которым поручалось ведение «рабочего дела» (их всегда было немного, самое большее 4—5 человек), обязаны были составить особые кружки из молодых «интеллигентов». Кружки эти, собственно говоря, не принадлежали к обществу «Земля и Воля», но, действуя под руководством его членов, они не могли работать иначе, как в духе его программы. Вот эти-то кружки и вступали в сношения с рабочими. Так как, благодаря пропаганде 1873—1874 гг., в петербургской рабочей среде было довольно много революционеров, то задача «землевольтцев» и их молодых помощников свелась прежде всего к организации этих готовых сил. «Старые», по большей части уже испытанные революционеры-рабочие, присоединив к себе некоторых надежных новичков, составили ядро петербургской рабочей организации, с которым и сносилась, главным образом, «интеллигенция». На этих людей мы вполне могли положиться: нелепо было бы бояться, что они нас выдадут. Тем не менее, помня, что кашу маслом не портят, и что в тайном революционном деле осторожность обязательна даже тогда, когда кажется совершенно излишней, «землевольтцы» и этим испытанным рабочим не сообщали ни своих адресов, ни своих имен (т. е. тех имен, под которыми они были прописаны в участке). Прибавлю, что так они поступали не с одними рабочими: адрес землевольтца и то, — по большей части вымышленное, — имя, под которым проживал он, в самой организации знали обыкновенно только очень немногие члены, занимавшиеся вместе с ним одной и той же отраслью революционного дела; остальные, занятые другими революционными специальностями, должны были довольствоваться встречами с ним на «конспиративной» квартире, где происходили общие кружковые собрания. На обязанности центральной, отборной рабочей группы лежало руководство местными рабочими кружками, возникавшими в той или другой части Петербурга. Интеллигенция не вмешивалась в дела этих местных кружков, ограничиваясь доставлением им книг, помощью при заведении тайных квартир для собраний и т. п. Каждый местный кружок собственными силами должен был привлекать себе новых членов, которым сообщали, что существуют и другие подобные кружки в Петербурге, но где и

какие именно, это было известно только членам центрального рабочего ядра, каждое воскресенье сходящимся на общее собрание. Революционеры-интеллигенты являлись с целью пропаганды и на собрания местных кружков. Но так как там они известны были под вымышленными именами, то, если бы туда и забрался какой-нибудь шпион, он мог бы донести «пославшему его» только о том, что какой-то Федорыч, или Антон, или «Дедушка» в том-то месте и в таком-то часу потрясал основы, а где искать этого Федорыча, или Антона, или «Дедушку», оставалось покрыто мраком неизвестности. Проследить же на улице кого-нибудь из этих потрясателей было не так-то легко, потому что они на сей конец прибегали к особым мерам, в виде проходных дворов, извозчика, внезапно взятого в таком месте, где другого извозчика не было, и где, таким образом, следовавший за потрясателем пеший шпион по необходимости должен был отстать от него и пр. и пр. При подобных предосторожностях мы могли благополучно заниматься своим делом даже в самые жестокие времена, когда не принадлежавшие к организации революционеры (нигилисты, как называли мы их на своем жаргоне) за самомалейшие пустяки десятками попадались в руки бдительных аргусов.

Уже к концу 1876 г., когда землевозы только еще приступали к устройству революционных «поселений в народе», пропаганда между рабочими приняла довольно широкие размеры, как в Петербурге (в Галерной гавани, на Васильевском Острове, на Петербургской и на Выборгской сторонах, на Обводном канале, за Невской и Нарвской заставами), так и в его окрестностях (в Колпино, на Александровской мануфактуре, в Кронштадте и т. д.). Но я уже сказал, что «бунтари» не довольствовались пропагандой и во что бы то ни стало хотели *агитировать*. Наше настроение увлекло, наконец, и рабочих. В то время у всех была в памяти демонстрация, ознаменовавшая весной 1876 г. похороны убитого тюрьмой студента Чернышева, который был арестован по делу 193-х. Она произвела очень сильное впечатление на всю интеллигенцию, и все лето того года мы, что называется, бредили демонстрациями. Но в Чернышевской демонстрации рабочие не принимали участия, так как произошла она в будни, да и подготовители ее как-то не вспомнили о рабочих: Чернышева хоронила «интеллигенция». И вот рабочим захотелось сделать *свою* демонстрацию, и притом такую, которая своим резко-

революционным характером совершенно затмила бы демонстрацию «интеллигентов». Они уверяли нас, что если хорошо взяться за дело и выбрать для демонстрации праздничный день, то на нее соберется до двух тысяч рабочих. Мы сомневались в этом, но бунтарская жилка заговорила в каждом из нас, и мы сдались. Так произошла известная Казанская демонстрация 6 (18) декабря 1876 г.

Теперь о Казанской демонстрации совсем забыли. Даже сам г. Драгоманов, любивший когда-то упрекнуть ею революционеров, вспоминает о ней все реже и реже. Но в свое время она возбудила много толков и споров. Одни осуждали, другие превозносили ее, хотя очень часто и те и другие имели о ней совершенно ошибочное понятие. Для «интеллигенции» цель демонстрации так и осталась невыясненной, вероятно потому, что в ее подготовке «интеллигенция» принимала участие только в лице немногих «землеольцев», действовавших в рабочих кварталах Петербурга. Эти люди употребляли все зависевшие от них средства, чтобы привлечь на нее как можно больше рабочих, но об интеллигенции, насколько мне известно, они думали мало: придет, мол, и без зова, а не придет — беда не велика, пожалуй, даже лучше будет, выйдет чисто рабочая демонстрация. Тем не менее, утром 6 декабря у Казанского собора собралось много учащейся молодежи. Произошло это, как мне кажется, главным образом, потому, что уже в течение всего ноября по Петербургу ходили слухи о какой-то демонстрации, имеющей произойти около Исакия, и публика была уже подготовлена. Кто задумал эту демонстрацию и какой характер собирались придать ей, мы, «землеольцы», хорошенько не знали, хотя, разумеется, явились бы и к Исакию, если бы там действительно что-нибудь произошло. Но этой демонстрации не суждено было состояться, она все как-то откладывалась от одного праздника до другого, так что нетерпеливые «нигилисты» начали, наконец, сердиться. О демонстрации у Исакия стали говорить не иначе, как с иронией. Не желая, чтобы публика смешала нас с этими медлителями, мы нарочно выбрали другое место — Казанский собор — для нашей демонстрации. И все-таки, когда в публику проникли слухи о наших замыслах, многие решили, что предстоящая Казанская демонстрация и есть та, которая должна была произойти у Исакия. Давно жаждавшая сильных впечатлений революционная молодежь отовсюду повалила к Казанскому собору и, сравнительно с рабочими, оказалась

там, вопреки нашим первоначальным расчетам, в большинстве.

Рабочих пришло не много: 200—250 человек. И это было совершенно понятно. Если для принадлежавших к революционным кружкам рабочих демонстрация имела смысл агитационной попытки, то для их незатронутых пропагандой товарищей она могла быть интересна разве лишь как новое, невиданное зрелище. Для деятельного участия в ней у них не было никакого осязательного повода. Поэтому они и не пошли на нее. Еще за несколько дней до демонстрации мы увидели, как несбыточны были розовые надежды задумавших ее революционных рабочих кружков. Но отступать было уже поздно. Мы все видели, как смешны стали в глазах публики слишком осторожные организаторы Исакиевской демонстрации, и не хотели уподобляться им. Вечером 4 декабря собрание, на котором, кроме нас, землевольцев, были влиятельнейшие рабочие с разных концов Петербурга, почти единогласно решило, что демонстрация должна состояться, если на нее соберется хоть несколько сот человек. На этом же собрании была предложена и одобрена мысль о красном знамени, о котором прежде никто не думал.

Вышитую на этом знамени надпись *«Земля и Воля»* мы считали наилучшим выражением народных идеалов и требований. Но именно народу-то, по крайней мере, столичному народу, она и оказалась непонятной. «Как же это так, — рассуждали потом на некоторых фабриках, — они хотели земли и воли? Земля-то это так, земля-точно надо бы дать крестьянам, а воля-то ведь уж дана. В чем же тут дело?». Вышло, что с своим девизом *«Земля и Воля»* мы опоздали по меньшей мере на пятнадцать лет. Впрочем, местами в крестьянстве слышались на этот счет другие отзывы. Живший в Малороссии товарищ рассказывал мне, что раз при нем между крестьянами зашла речь о Казанской демонстрации. «Они хорошего хотели, — заметил один старик, — этого все хотят, нам всем нужна земля и воля». Тот же старик никак не хотел поверить, что революционеров могут преследовать за столь справедливые требования. — «Ничего им не было, — утверждал он, — просто царь призвал их к себе и сказал: подождите, хлопцы, будет вам и земля, и воля, только не надо об этом кричать на улицах». Вообще, о Казанской демонстрации так или иначе заговорила вся Россия.

Но как произошла самая демонстрация? Я сказал, что собрание 4 декабря решило не откладывать ее, если соберется хоть несколько сот человек. Весь следующий день был посвящен нами на беготню по рабочим кварталам. Утром 6 декабря на место действия пришли все «бунтарские» рабочие кружки (лавристы были, разумеется, против демонстрации). В особенности хорошо были представлены гаванские рабочие: с одного из гаванских заводов пришла в полном составе целая мастерская в 40—45 человек. Но посторонних рабочих совсем не было. Мы видели, что сил у нас слишком мало, и решились выждать. Рабочие разошлись по ближайшим трактирам, оставив у соборной паперти только небольшую кучку для наблюдения за ходом дел. Между тем учащаяся молодежь подходила большими группами. Находившаяся в церкви, — очень, впрочем, малочисленная, — публика уже к концу обедни была поражена странным наплывом совершенно необычных богомольцев. Церковный староста посматривал в их сторону с каким-то тревожным удивлением. Обедня кончилась, странные богомольцы не расходились. Тогда староста вступил с ними в переговоры. «Что вам угодно, господа?» — спросил он, как нарочно подойдя к группе «бунтарей».

— Желаем отслужить панихиду, — отвечали ему.

— Нельзя сегодня служить панихиду: царский день.

«Бунтари» изумились. Собственно в план демонстрации богослужение вовсе не входило, но так как революционная публика все продолжала прибывать и «бунтарям» нужно было выиграть время, то они придумали панихиду просто как благовидный предлог для дальнейшего пребывания в церкви. Когда староста разъяснил им, что нельзя служить панихиду, они недолго оставались в смущении.

— Я пойду закажу молебен, — шепнул мне покойный Сентянин.

— Идите, заплатите понам за наш постой, — ответил я, подавая ему трехрублевую бумажку.

Сентянин пошел. Но я и до сих пор не знаю, на чем он порешил с попами. Соскучившиеся «нигилисты» стали выходить на паперть, из соседних трактиров подошли заседавшие там «бунтари»-рабочие. Толпа приняла довольно внушительные размеры. Мы решили действовать¹.

¹ *Примечание ко второму изданию.* Лицо, написавшее некролог П. Г. Зайчневского («Материалы для истории русского революционного движения. С приложением: С родины и на родину», № 6—7, стр. 505), говорит, между прочим, следующее:

До властей, вероятно, дошли слухи о наших приготовлениях. Однако, на Казанской площади полицейских и жандармов было не много. Они смотрели на нас и «ждали поступков». Когда раздались первые слова революционной речи, они попытались было протиснуться к говорившему, но их сейчас же оттеснили назад. Все участники демонстрации пришли в страшное возбуждение. Рабочие плотным кольцом сомкнулись вокруг говорившего. «Ребята, держись тесней, не выдавай, не подпускай полиции», — командовал Митрофанов, между тем как полицейские свистки оглашали площадь. Когда речь была окончена, развернули красное знамя, раздались крики: — Да здравствует социальная революция, да здравствует Земля и Воля! Митрофанов быстро сдернул шапку с говорившего и, надевши на него какую-то фуражку, закутал башлыком

«Что особенно отвратило его (П. Г. Зайчневского) от «Земли и Воли», это — Казанская демонстрация, где он увидел прежде всего недостаток организации и несерьезность организаторов. Ему удалось тайно приехать в Петербург и на одной студенческой квартире он отчитал оратора (делая вид, что не знает, что этот оратор в той же комнате), осмелившегося произнести речь, когда организаторами было решено произносить ее только в том случае, когда соберется на площади три тысячи рабочих. Оратор должен был молча слушать, как Зайчневский его клеймил».

Лицо, написавшее эти строки, позабыло или не сочло нужным сообщить, откуда знал Зайчневский, при каких условиях решено было *произносить речь*: ведь он к числу организаторов демонстрации не принадлежал и на их собраниях не был. На самом деле решение, о котором говорит автор некролога, не только не было принято организаторами Казанской демонстрации, но его никто и не предлагал. На собрании 4 декабря *решено было, напротив, действовать, если соберется на Казанской площади хоть несколько сот человек*. Да иначе нельзя было поступить при тогдашних условиях, *не внося деморализацию в среду революционеров*. Не зная о том, как была подготовлена и организована Казанская демонстрация, Зайчневский не мог «отчитывать оратора» за его будто бы неповиновение решениям организаторов. На самом деле он «отчитывал» вовсе не «оратора», а прежде всего всех вообще революционеров-народников за *их ожидание активной поддержки со стороны народа*. Говорил он также и *против демонстрации*, но единственно по причине, которую хорошо разъясняет сам автор некролога: «*Всякая демонстрация и террор безусловно им порицались, как прямая помеха организации*» (там же, стр. 504). И почему «оратор должен был молча слушать» рассуждения Зайчневского? Разве потому, что его самого мучила совесть ввиду содеянного им нарушения революционной дисциплины? Но — как я уже сказал — такого нарушения вовсе не было. В действительности «оратор» вовсе и не молчал, но очень возможно, что он в течение некоторого времени «молча слушал» до тех пор не слыханное им от *революционера* мнение о неизбежной будто бы инертности народа. Это мнение глубоко поразило его некоторыми своими презрительными потками.

ему голову. «Теперь пойдем все вместе, иначе будут арестовывать», — закричали какие-то голоса, и мы толпой двинулись по направлению к Невскому. Но едва мы сделали несколько шагов, как полиция, подкрепленная сбегавшимися на свистки городскими и околоточными, стала хватать шедших в задних рядах. Тут общее возбуждение дошло до последней степени. Кто-то скомандовал: «стой, наших берут», и толпа бросилась отбивать арестованных. Полицейские были смяты и побежали за собор, в Казанскую улицу. Если бы, отразив этот первый неприятельский натиск, революционеры выказали больше самообладания, то они, вероятно, смогли бы отступить без потерь и в полном порядке. Землевозльцы понимали это, и, как только арестованные были отбиты, они закричали, чтобы публика снова сомкнулась в тесные ряды. Но кому из принимавших когда-нибудь участие в подобных столкновениях не известно, как трудно ввести в надлежащие границы раз прорвавшиеся наружу страсти? Публика продолжала преследовать обращенную в бегство полицию. Произошел страшный беспорядок, наши ряды совсем расстроились; между тем к полицейским явилось новое и сильное подкрепление. Целый отряд городских, в сопровождении множества дворников, быстро приближался к площади по той самой Казанской улице, к которой направились бежавшие полицейские. Увлечшись преследованием, революционеры столкнулись с этим отрядом лицом к лицу. Началась жесточайшая свалка. Силы полиции ежеминутно возрастали. Революционеров окружали со всех сторон. Стройное отступление сделалось для них совершенно невозможным. Хорошо было уже и то, что они могли отступать более или менее значительными кучками. Такие кучки по большей части успешно, хотя и не без значительных телесных повреждений, отбивались от нападавших. Но зато тех, которые действовали в одиночку, тотчас хватали и после зверских побоев тащили в участки.

У меня нет охоты воспевать подвиги чьих бы то ни было кулаков. Но ввиду зверства, проявленного тогда полицией, я не без удовольствия замечу, что и ей досталось очень порядочно. Революционеры, из которых некоторые были вооружены кастетами, отчаянно защищались. С их стороны в особенности отличился тогда студент NN. Высокий и сильный, он поражал неприятелей, как могучий Аякс, сын Теламона, и там, где появлялась его плечистая фигура, защитникам порядка приходилось жутко. Как ни старалась

схватить его полиция, он счастливо отбил все нападения и возвратился домой таким же «легальным» человеком, каким пришел на площадь. Пострадавшие от него защитники «порядка» знали только, что их тузил какой-то высокий сильный брюнет, но лица его они совсем не запомнили. Когда потом, уже по окончании столкновения на площади, им встретился на Морской Боголюбов, они вообразили, что он-то и есть их победоносный неприятель. Боголюбова схватили, жестоко избили в участке, а потом, как известно, осудили на каторгу. *Но Боголюбов не принимал в демонстрации ни малейшего участия.*

Когда по произнесении речи развернули красное знамя, его схватил молодой крестьянин Потапов и, поднятый на руки рабочими, некоторое время держал его высоко над головами присутствующих. Полиция заметила его физиономию, однако арестовать его ей долго не удавалось. Защищавшая его группа решительных и смелых людей медленно отступала по Невскому. Она дошла до угла Большой Садовой. Преследование постоянно ослабевало и, наконец, повидимому совершенно прекратилось. Тогда Потапов сел в конку, считая себя уже в безопасности. Но за ним следили шпионы. Пока он был не один, они держались на почтительном расстоянии, а когда спутники его удалились, шпионы бросились за конкой и, остановив ее, арестовали Потапова. На нем нашли знамя, которое само по себе составляло неопровержимую улику. Тем не менее суд приговорил Потапова лишь к заключению в монастырь «на покаяние». Сравнительная мягкость этого странного приговора объяснялась будто бы молодостью Потапова. Но известно, что в русских политических процессах судьи не стеснялись осуждать на каторжные работы, а потом, в военных судах, даже на смерть очень молодых подсудимых. В данном случае умысел был другой. Правительство нашло нужным щадить рабочих. На скамью подсудимых из них попало 10—12 человек и всем им вынесен был довольно мягкий приговор: некоторых, подобно Потапову, приговорили к монастырскому покаянию, других к ссылке на поселение в Сибирь; подсудимые же из интеллигенции пошли по большей части в каторгу и при том на очень долгие, неслыханные до тех пор, сроки. Судьи не могли не видеть, что виновность почти всех подсудимых этой последней категории по меньшей мере сомнительна. Зато у двух арестованных рабочих найдены были записки, которые, по замечанию прокурора, «ясно указывали на сговор»;

они, действительно, ясно указывали на него, но не менее ясно было и то, что никто из преданных суду «интеллигентных» революционеров в этомговоре не участвовал. Третье отделение хорошо знало, что главные подготовители демонстрации арестованы не были. Но суд не смутился этим, отомстив арестованным «интеллигентам» за действия скрывшихся. Известно, что правительство всегда устанавливало в таких случаях род круговой поруки между революционерами. Но ему слишком неприятна была та мысль, что в среде рабочих могут быть такие же неисправимые «бунтовщики», как и в среде «интеллигенции». Оно старалось уверить себя и других, что лишь под дурным влиянием этой последней рабочие перестают быть верными подданными монарха, и очень неохотно сажало их на скамью подсудимых, предпочитая расправляться с ними административным порядком. Это было очень благоразумно. Пока в качестве политических преступников выступали только представители интеллигенции, можно было уверять крестьян, что преступники эти были барами, злившись на царя за уничтожение крепостного права. По отношению к преступникам из рабочей среды подобные уверения сразу лишались всякого смысла, и образ «бунтовщика» должен был принимать совершенно новый, очень неприятный для правительства вид в народном воображении. Правительство очень хорошо понимало, какой невыгодный для него оборот примет революционное движение, если, не ограничиваясь одной интеллигенцией, оно увлечет хоть некоторые слои народа.

Казанская демонстрация была первой попыткой практического применения наших понятий об *агитации*. Понятия эти были в то время еще *слишком отвлечены*, и уже по одному этому не могло быть удачным их практическое применение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы всегда будем оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться лишь своим отвлеченным пристрастием к «агитации», а не существующим настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитировать.

Мы не забыли этого урока, но прошло более года прежде, чем нам представился случай снова взяться за агитацию в среде петербургского рабочего населения. Это был очень печальный случай. На Василеостровском патронном заводе произошел взрыв пороха. Несколько рабочих страшно изуродовало, четырех убило на месте. На другой день

умерли от тяжелых ран еще двое. Таким образом, рабочим этого завода предстояло провозжать на Смоленское кладбище шестерых товарищей. Взрыв произошел по непростительной вине заводского начальства. Пострадавшая мастерская помещалась во втором этаже и сообщалась с внешним миром одной только лестницей. Как раз при входе в мастерскую, около лестницы, лежал в особом чулане довольно значительный запас прессованного пороха, из которого приготавливались патроны. Когда этот порох обтачивался на станках, от него поднималась мелкая пыль, покрывавшая станки, пол и стены мастерской. Достаточно было одной искры, чтобы пороховая пыль вспыхнула и, донеся огонь до помещавшегося у лестницы порохового чулана, отрезала рабочим всякий путь к спасению. Рабочие тем лучше сознавали грозившую им опасность, что искры часто получались во время работы от трения. Иногда от этих искр вспыхивала даже покрывавшая станки пороховая пыль. Но так как до поры до времени вспышки были незначительны, то начальство и полагалось на милость божию. Заявления рабочих оставались без внимания. Понятно, что, когда произошел взрыв, все рабочие этого завода были очень озлоблены. Существовавший там революционный кружок тотчас увидел, что ему следует действовать. Кто-то из его членов написал воззвание, в котором происшедший на заводе несчастный случай ставился в связь с общим положением рабочего класса. Воззвание это, напечатанное в нашей тайной типографии, произвело хорошее впечатление, его с сочувствием читали даже и такие рабочие, которых прежде никто не замечал в сочувствии к революционерам. Но этого было мало. Революционный кружок патронного завода хотел придать предстоящим похоронам характер демонстрации.

Этот кружок не находился под исключительным влиянием «бунтарей». Сносясь с «бунтарями», он поддерживал постоянные дружеские сношения также и с лавристами. Но ему было хорошо известно отрицательное отношение лавристов ко всякого рода «бунтовским попыткам»; он боялся, что те не одобряют его мысли о демонстрации. Очень неприятно было рабочим огорчать друзей-лавристов, но отказаться от демонстрации было бы еще неприятнее. Вследствие этого они пустились на хитрость. Пригласив бунтарей притти на похороны, они настоятельно просили их ничего не сообщать лавристам. «Бог с ними совсем, — говорили они, — лавристы — люди хорошие, но пойдут спо-

рять, доказывать, что мы затеяли пустое, а нам послушаться их нельзя, очень уж возбуждены все рабочие». Бунтари не имели, разумеется, никакой охоты выдавать их лавристам.

В день похорон, часов в девять утра, хорошо вооруженная группа «бунтарей» (в числе их покойный Валериан Осинский) подошла к зданию патронного завода, перед которым собралась уже большая толпа рабочих. К бунтарям тотчас присоединились члены заводского рабочего кружка, тоже вооружившиеся кой-чем «на всякий случай». Покойный Халтурин, работавший в то время на другом заводе, также пришел на похороны. Начались совещания: каково настроение рабочих и что именно могут сделать в виду его революционеры. Бунтари находили, что выступать с революционной речью было бы неуместно. Одета по-праздничному рабочая толпа показалась им слишком «буржуазною». И это впечатление было так сильно, что оно сообщилось не только тем «интеллигентам», которые, «занимаясь» с заводскими рабочими, казалось бы, знали их привычки, но, — странно сказать, — даже членам местного рабочего кружка. Те тоже сильно упали духом.

Показались гробы; присутствующие на минуту сняли шапки, и началось похоронное шествие. В тот день был жестокий мороз, еще более охлаждавший наши революционные порывы. «Нет, господа, революцию нужно делать летом, в этакый холод никого не расшевелишь», — шутили мы, оттирая побелевшие носы и уши.

Но вот и кладбище. В одном из отдаленнейших от входа углов его вырублено было в промерзшей земле шесть свежих могил, около которых лежали скромные деревянные кресты. Полиция, все время сопровождавшая шествие в довольно значительном количестве и усиленная новым отрядом городских у входа на кладбище, стала вокруг могил; священник пропел последнюю молитву; гробы опустили в землю. Пока их зарывали, толпа оставалась вполне спокойной, и мы совсем было убедились, что с ней «ничего не поделаешь». Но когда все было кончено и настало время расходиться, в ней началось какое-то движение. Незнакомый нам полный, рыжий рабочий протискался к одной из крайних могил.

— Господа, — воскликнул он дрожащим от волнения голосом. — Мы хороним сегодня шесть жертв, убитых не турками¹, а попечительным начальством. Наше началь...

¹ Это было во время русско-турецкой войны.

Его прервали.

Раздались полицейские свистки, и окологородный надзиратель положил ему руку на плечо со словами: «я вас арестую». Но едва успел он выговорить это, как произошло нечто совершенно неожиданное. Со всех сторон раздались негодующие крики, и толпа, та самая толпа, которая произвела на нас безнадежное впечатление своею будто бы буржуазною прилизанностью, дружно кинулась на оторопевших полицейских. В одно мгновение арестованный был куда-то далеко унесен нахлынувшей рабочей волной, а пытавшийся взять его окологородный не совсем твердым голосом извинялся перед публикой.

— Ведь я же не могу иначе, господа, я сам отвечаю за беспорядки перед начальством.

— Рассказывай! Вот мы тебя вздуем, так ты вперед не будешь соваться куда не следует! — отвечали ему из толпы.

— Бей его! — кричали наиболее ожесточенные.

Положение полиции становилось критическим. Здесь, на далеком Смоленском кладбище, она была совершенно бессильна перед этой тысячею разъяренных рабочих. Но ее спасло именно ее очевидное для всех бессилие.

— Братцы, что ж мы их будем бить, — сказал чей-то голос. — Нас много, их мало, стыдно нам с ними связываться. Пускай себе идут по домам; никого из нас они тронуть не посмеют.

Эта не то дипломатическая, не то действительно великодушная речь несколько успокоила рабочих. Крики поухли; публика перестала угрожать полиции побоями, но, с другой стороны, не хотела и отпустить ее с миром, так как боялась, что она проследит и арестует оратора. Толпа разделилась на две части: одна окружила полицейских, другая сплотилась вокруг оратора и торжественно повела его к воротам. Он, повидимому, никак не ожидал такой чести и сконфуженно поглядывал на товарищей, шумно выражавших ему свое сочувствие. Все окружавшие громко ругали начальство и полицию. Мне особенно бросилась в глаза худая, маленькая старушка, которая, ни к кому не обращаясь в частности и как будто разговаривая сама с собою, с жаром повторяла, что надо постоять за своего человека. И толпа несомненно готова была постоять за него, но ее, по ее неопытности, могли перехитрить шпионы. «Бунтари» нашли нужным подать ей благоразумный совет. У главных ворот кладбища стояло, в ожидании седоков,

несколько извозчиков. Одному из них революционеры посадили в сани пытавшегося говорить рабочего, а всем остальным запретили двигаться с места. Для большей верности лошадей взяли под уздцы. Таким образом, ни один шпион не мог последовать за оратором, быстро уезжавшим в сопровождении двух надежных людей. Когда к воротам подошла остальная, конвоировавшая полицию, часть толпы, он уже совсем скрылся из виду. Полицейских продолжали, однако, держать в плену, отпуская на их счет различные, теперь уже по большей части добродушно-шутливые замечания. Но они едва не испортили дела излишним рвением. Очутившись за воротами, один околодочный, тот самый, который прервал оратора, выхватил из кармана свисток и быстро поднес его к губам, чтобы звать к себе на помощь. Публика снова заволновалась. У него вырвали свисток и несколько раз толкнули его довольно-таки внушительно. Ему оставалось только ругаться. «Это бунт, — кричал он в бессильной ярости, — вы все ответите за это, это вам так не пройдет!»

— А ты бы лучше помалкивал, покуда бока целы, — наставительно отвечали ему рабочие.

— Нечего мне молчать, я исполняю свою обязанность, а вы бунтовщики, — горячился он, и вдруг, обращаясь к группе «бунтарей», заметил, что он всех их видел еще на Казанской площади.

— Очень приятно встретиться со старым знакомым, — любезно ответили «бунтари», — надемся, что это не в последний раз.

Рабочие рассмеялись. Околодочный пожал плечами и умолк, изобразив на своем лице полнейшее негодование.

— Ну что ж, пора их и отпустить, пусть пойдут домой погреются, — решила публика, и стала расходиться кучками по двадцати-тридцати человек, оживленно толкуя обо всем случившемся. Только самые непримиримые продолжали еще бранить и даже толкать в спину размещавшихся по извозничьим саням околодочных. Наконец, ушли и непримиримые, и Смоленское кладбище приняло свой обычный пустынный вид.

Дружный отпор, данный полиции рабочими патронного завода, произвел прекрасное впечатление как на рабочие кружки Петербурга, так и на «бунтарскую» интеллигенцию. Он доказывал, что даже незатронутые пропагандой рабочие вполне способны к решительному и единодушному действию и в подходящую минуту не испугаются союза с

«бунтовщиками Казанской площади», т. е. с революционерами. Нам нужно было только не упускать таких минут, чтобы обеспечить себе сочувствие рабочей массы. И когда в марте того же года вспыхнула стачка на Новой Бумагопрядильне, мы были уверены, что легко сговоримся с этой массой.

Первая стачка на Новой Бумагопрядильне вызвана была, в марте 1878 г., значительным понижением заработной, почтучной платы и длинным рядом «новых правил», целью которых являлось все то же, любезное предпринимательскому сердцу, удешевление рабочей силы. На этой фабрике существовал небольшой революционный кружок из 10—12 человек, только недавно привлеченных, неопытных и не испытанных на деле. Душою кружка был нелегальный, унтер-офицер Гоббст, впоследствии, в июле 1879 г., повешенный в Киеве, а в то время, о котором идет теперь речь, усердно разыскиваемый полицией по делу о пропаганде в войсках Одесского военного округа. Гоббст был не только вполне надежный, но положительно редкий по своей преданности делу человек. Он один стоял иного кружка. Однако, с фабричной средой он не успел хорошенько познакомиться, да при том же на фабрике он не работал, а жил по соседству с нею в качестве сапожника-хозяина единственной в той местности «конспиративной» квартиры. Таким образом, непосредственного влияния на рабочую массу он не имел. Ко всему этому нужно прибавить, что на Новой Бумагопрядильне — самой большой из фабрик Обводного канала, занимавшей более двух тысяч человек — работали тогда, как нарочно, все «серые» люди, недавно понавшие в столицу и в целости сохранившие свои деревенские предрассудки. Можно представить себе поэтому те препятствия, которые должны были встретиться революционерам при их попытке войти в сношения со стачечниками.

Когда извещенные Гоббстом «землеволюцы» явились на его конспиративную квартиру, дело обстояло так. Рабочие были вполне уверены, что «начальство» немедленно вступится за них, как только поймет смысл «новых правил». Разубедить их в этом не представлялось пока никакой возможности. Приходилось уступить их наивной уверенности, предоставив им из опыта узнать, как велика заботливость русского «начальства» о нуждах рабочего класса. Ближайшим к стачечникам представителем власти был местный полицейский пристав. К нему-то и обратились они прежде всего со своими жалобами. Пристав оказался

большим дипломатом. Чтобы выиграть время, он ласково принял «ходовков» и обещал им «переговорить» с управляющим фабрики. Простодушные рабочие заранее торжествовали победу. Но прошел день, прошел другой, фабричные станки бездействовали, мелочные лавки начали отказывать стачечникам в кредите, а управляющий все еще не обнаруживал ни малейшей склонности к уступкам. Что же это могло означать? Неужели пристав не «переговорил» с ним? Снова отправились «ходыки» в участок, но на этот раз их приняли там не по-прежнему: пристав находил, что рабочие *обязаны* подчиниться новым правилам, «бунтовщикам» же грозил строгим наказанием. Стачечники усмотрели из этого, что он «снюхался» с управляющим, и решили «итти выше», т. е. к градоначальнику. Нечего и говорить, что тот сделал для них не больше, чем пристав. Тогда поднялись толки о подаче прошения наследнику¹.

На все это ушло с неделю, а за неделю революционеры успели уже довольно хорошо сойтись со стачечниками. С самого начала стачки рабочие заметили, что каждый раз, когда они собирались большой толпой, между ними появлялись какие-то незнакомые им люди, одетые не совсем по-фабричному, пожалуй, даже вообще смахивавшие на «студентов», но неизменно тянувшие их руку. Эти люди подали уже не мало дельных советов. Они говорили, что не за чем ходить ни к приставу, ни к градоначальнику. Их не послушались, а вышло по-ихнему. Семейным стачечникам, на которых особенно тяжело отзывалась остановка работы, сопровождавшаяся, разумеется, прекращением заработка, раздавались денежные пособия, — раздавались, правда, своими же фабричными, но откуда у тех возьмутся деньги? Догадаться нетрудно: деньги дают те же таинственные люди. Доверие стачечников к революционерам росло с каждым днем. До какой степени дорожила рабочая масса их неожиданной поддержкой, покажет следующий пример.

Одним из самых бойких членов местного революционного рабочего кружка был фабричный, которого мы назовем хоть Иваном. Прекрасный малый, очень неглупый, деятельный и энергичный, Иван имел страстишку выставиться и порисоваться. Этот недостаток его, с избытком искупавшийся, впрочем, его достоинствами, ставил иногда Ивана в довольно смешные положения. Однажды, к величайшему

¹ *Примечание ко второму изданию.* Читатель помнит, что это было еще в царствование Александра II.

нашему удивлению и огорчению, он вздумал прочесть стачечникам лекцию о прибавочной стоимости. Слушателям было совсем не до того: они собрались поговорить о том, как вести себя ввиду неожиданной для них измены пристава; лектор сам, как обнаружилось, плохо понимал свой предмет, да вдобавок еще сильно смутился на этом первом, так сказать, пробном чтении, и ничего, кроме вздора, из его популяризаторских усилий не вышло. Он был сильно сконфужен своей неудачей. Мы думали, что теперь он уgomонится надолго, если не навсегда, но не тут-то было. Уже на другой день Иван позабыл об этом печальном происшествии, и его опять тянуло побаловать себя тем или другим эффектным положением. Приходит он однажды, в самый разгар стачки, часов около восьми утра, на квартиру Гоббста и торжественно обращается к одному из присутствовавших там «бунтарей»:

— Петр Петрович, надо бы смотр сделать!

— Какой смотр?

— Да больше ничего — выйти на улицу, людей посмотреть, себя показать. Скучает народ-то!

«Бунтарь», названный здесь Петром Петровичем, отчасти походил характером на Ивана, с которым, кстати сказать, был большим приятелем. Он быстро сообразил, чего тот хочет, и без возражений вышел с ним на улицу. Спустя несколько минут за ними последовали и остальные бунтари, — их было два-три человека, — очень заинтересованные новой затеей неугомонного и неисправимого Ивана. Дойдя до Обводного канала, они увидели такую картину.

Сотни стачечников покрывали набережную, образуя вдоль нее сплошную стену. Перед этой стеной медленно, торжественно шествовал Петр Петрович, а за ним, на некотором расстоянии, двигался Иван, слегка повернув в сторону свою почтительно наклоненную вперед голову, как бы затем, чтобы хоть одно ухо было поближе к начальству и не проронило ни слова из могущих последовать приказаний. Всюду, где проходила эта удивительная пара, рабочие снимали шапки, приветливо кланяясь и отпуская на ее счет разные одобрителные замечания. «Вон они, орлы-то наши, пошевеливаются!» — любовно воскликнул в нескольких шагах от меня пожилой рабочий. Окружавшие его молчали, но видно было, что им появление «орлов» доставило большое удовольствие.

Комическая выдумка Ивана была подсказана ему верным пониманием настроения массы. «Народ» действительно

«скучал», не видя революционеров. Он чувствовал себя бодрее и смелее в их присутствии.

Замечу, однако, что тогдашние представления огромного большинства стачечников об «орлах» были очень смутны. Стачечники видели в них своих друзей; заметили также, что «орлы» не ладят с полицией. Но это и все. В каких отношениях стоят революционеры к высшему начальству, — в особенности к царю, — об этом спрашивали себя тогда, вероятно, очень немногие из стачечников. Большинство приписывало нам, должно быть, свой собственный, вынесенный из деревни взгляд на царя, как на верного защитника народных интересов. Наиболее же наивные доходили, пожалуй, до того, что принимали нас за тайных царских агентов. Я знаю, что в первое время стачки в существование таких агентов твердо верили, по крайней мере, некоторые рабочие. «Тише, братцы, — крикнул однажды собравшейся перед фабричным зданием толпе какой-то, должно быть, уже искушенный опытом прядильщик, — тут таскаются фискалы!» — Какие фискалы? — полюбопытствовал другой, обращаясь к своему соседу. — «А это, брат ты мой, такие люди, — ответил тот, — которых царь тайно посылает разузнать, нет ли где притеснения народу. Они походят, послушают, да ему и расскажут. Фискалов бояться нечего, это он напрасно, фискалы правду наблюдают». Такое лестное мнение о фискалах скоро разбилось в прах при столкновении с действительностью. Не прошло и недели, как уже все стачечники хорошо знали, кому и о чем доносят фискалы. Фабричная молодежь стала устраивать на них настоящие облавы. Обыкновенно они происходили вечером. Отряд охотников отправлялся в один из местных трактиров, куда во время стачки часто забегали шпионы пообогреться и прислушаться к разговорам публики, состоявшей из тех же стачечников. «Есть фискалы?» — спрашивает предводитель отряда кого-нибудь из знакомых. — «Вон сидит пара, давно уж тут вертятся, замечают да подслушивают». Предводителю только этого и надо. Он шепчется со своими спутниками и располагается пить чай неподалеку от фискалов. Едва те выходят из трактира, он выбегает за ними. «Ребята, фискал, держи, держи!» — кричит он, что есть мочи. Фискалы бросаются бежать, но на первом же углу натываются на засаду. Их хватают и ведут к каналу. Здесь их вежливенько кладут на землю и, как по наклонной плоскости, пускают катиться вниз по крутому берегу.

Вывалившись в снег и стукнувшись об лед, фискалы вскакивают и стремглав летят в участок. «Улю-лю-лю! улю-лю-лю!» — юмористически кричат им вслед рабочие и затем быстро расходятся по домам, во избежание полицейских возмездий. Рассказы об испытанных фискалами неприятностях очень потешали всех стачечников. Собственно говоря, революционеры были для них такими же неизвестными людьми, как и фискалы. Иногда по тем или другим причинам на место действия вместо старых, знакомых всей рабочей массе «орлов» являлись совершенно новые личности. Но замечательно, что стачечники никогда не ошибались, и ни разу ни одному революционеру не пришлось испытать на себе действие предназначенного для фискалов исправительного наказания. Рабочие каким-то чутьем отличали революционеров от полицейских сыщиков. Возможно, однако, что те из них, которые видели прежде в шпионах тайных агентов добродетельного царя, принимали потом за таких агентов самих революционеров. Возможно также, что они приписывали царской милости и раздачу денег лишившимся кредита семьям. По крайней мере сближение с революционерами не мешало большинству стачечников надеяться на помощь со стороны трона. Именно от «орлов»-то и ждали, что они напишут прошение («хо-орошенькую бумажку!»). Обращаться с такой просьбой к революционерам значило почти то же, что просить сатану отслужить молебен угоднику. Землевольцы заранее морщились при мысли о такого рода поручении, тем более, что «лавристы», недовольные принятым ими способом действий, давно уже обвиняли их в измене революционным принципам. Но делать было нечего. Веру в царя нужно было разрушать не словами, а опытом. И вот однажды утром в квартиру Гоббста принесен был проект требуемого прошения. Одобренный местным рабочим кружком, он был представлен на рассмотрение рабочего собрания, состоявшегося на обширном дворе Бумагопрядильни. Малолетние рабочие («ребятишки»), все время принимавшие деятельное участие в стачке, рассыпались по прилегающим улицам и переулкам, чтобы, в случае приближения полиции, во-время предупредить собравшихся. Кто-то (кажется, все тот же Иван) забрался на большую кучу каменного угля и громогласно прочел прошение. Оно вызвало всеобщий восторг. «Вашему императорскому высочеству, — говорилось в нем, — не безызвестно, какие плохие были отведены нам наделы, и как сильно страдаем мы от малоземелья!» — Верно, верно, —

гремела толпа, — только звания что земля, а пользы от нее никакой! — «Вашему императорскому высочеству не безызвестно также, что за эти плохие наделы мы платим тяжелые подати», — продолжал чтец. — И это так, и это верно, — одобряли слушатели, — вздохнуть не дают с податями! — «Вашему императорскому высочеству не безызвестно, наконец, с какою жестокостью взыскиваются с нас эти тяжелые подати, — раздавалось с высокой каменноугольной трибуны, — нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесняют фабриканты и полиция». Далее следовал разбор вызвавших стачку новых правил, а в заключение говорилось, что, не видя ни откуда защиты, рабочие ждут ее от наследника престола, но если и он не обратит внимания на их просьбу, то ясно будет, что им остается надеяться *только на самих себя*. Заключение также найдено было очень рассудительным. «Если и от наследника ничего не добьемся, то уж надо будет, как-никак, поправляться самим», — решили слушатели. Таким образом, прошение было готово. Но как доставить его наследнику? Итти «ходоком» к Аничкову дворцу никому не хотелось, так как подобное путешествие могло закончиться очень неприятным образом. Решено было нести прошение целой толпой.

Полиция давно уже догадывалась, что стачечников подерживают революционеры. «Фискалы» лезли из кожи вон, стараясь выследить «подстрекателей». Но землевольцев поймать было не легко, и шпионские усилия так и не привели бы, может быть, ни к чему, если бы не одна несчастная случайность.

Зимой 1877/78 г. «интеллигенция» находилась в крайне возбужденном состоянии. Процесс 193-х, этот долгий поединок между правительством и революционной партией, в течение нескольких месяцев волновал все оппозиционные элементы. Особенно горячилась учащая молодежь. В университете, в медико-хирургической академии и в технологическом институте происходили многолюдные сходки, на которых «нелегальные» ораторы «Земли и Воли», ни мало не стесняясь возможным присутствием шпионов, держали самые зажигательные речи. Недавно основанная тайная землевольческая типография усиленно работала. Кроме обширного отчета о «большом процессе», из нее вышло тогда множество воззваний и, между прочим, проект адреса министру юстиции Палену от учащейся молодежи, заключавший в себе резкий протест против жандармской инквизиции

(мы называли в шутку этот проект русский petition of rights). Все подобные издания широко распространялись по России, но понятно, что больше всего их находилось в Петербурге, где их легко мог достать всякий желающий. Выстрел В. И. Засулич и вооруженное сопротивление жандармам Ковальского с товарищами в Одессе (30 января 1878 г.) еще более подлили масла в огонь. Жажда деятельности и борьбы пробуждалась в самых мирных людях, и не было революционного предприятия, для исполнения которого не нашлось бы немедленно многих и многих охотников.

Когда среди петербургской интеллигенции разнесся слух о стачке, студенты немедленно собрали в пользу забастовавших очень значительную сумму денег¹. Но радикальная часть студенчества не довольствовалась денежными пожертвованиями. Ей хотелось поближе сойтись со стачечниками. Из студентов разных заведений составила небольшая группа, с целью пробраться на Обводный канал. Дойти до него было, конечно, не трудно, но никто из странников не имел связи между тамошними рабочими. Они зашли в портерную лавку, вероятно, рассчитывая встретить там стачечников. От портерной было рукой подать до Бумагопрядильни, и в нее действительно нередко заходили рабочие, но именно потому там во время стачки постоянно заседали «фискалы», разумеется, сейчас же обратившие внимание на необычных посетителей. Необычные посетители, с своей стороны, сообразили, с кем имеют дело, но отступить не захотели. Прилежавшие к Бумагопрядильне улицы уже имели тогда тот особенный вид, который обыкновенно принимают наши рабочие кварталы, когда в них пахнет хоть маленьким «бунтом»: шмыгают «фискалы», озабоченно бегают околоточные, на перекрестках стоят целые кучи городских, иногда показываются казаки, а не участвующие в «бунте» редкие прохожие боязливо озираются по сторонам, точно вот-вот сейчас произойдет что-то очень страшное. Такая картина даже на бывалого, выдавшего вида революционера действует всегда самым возбуждающим образом. Тем более сильно должна была она подействовать на молодых студентов. Войдя в портерную, они, повидимому, уже плохо владели собой, а когда заметили шпионов, совсем забыли всякую осторожность. «А вы

¹ Впрочем, деньги давали не одни студенты. Все либеральное общество отнеслось к стачечникам весьма сочувственно. Говорили что даже г. Суворин разорился для их поддержки на 3 руб. За достоверность этого слуха не могу, однако, поручиться.

слышали, господа, что в Ростове-на-Дону убили шпиона Никонова¹? Семь пуль всадили!» — сказал один из них, нарочно возвышая голос, чтобы его могли слышать те, кому слышать вовсе не следовало. — «Не семь, а одиннадцать», — поправил его шпион, надевая шапку и выходя на улицу. Через несколько минут он вернулся в сопровождении полицейских и пригласил господ студентов «на пару слов в участок». О поимке «подстрекателей» сейчас же сообщили начальника тайной полиции, который на подмогу вульгарным уличным шпионам отрядил какого-то чиновного сыщика. А тем временем полиция вошла во вкус арестов и стала хватать всех прохожих, почему либо казавшихся ей подозрительными. Так взят был совершенно ни за что, ни про что один псковский мещанин, едва только за несколько часов перед тем приехавший в Петербург и отправившийся на Обводный канал по какому-то частному делу. Почти одновременно с ним схватили на улице двух землевольцев, только что оставивших конспиративную квартиру Гоббста и пробиравшихся во-свояси. Арестовали также нескольких рабочих, считавшихся «зачинщиками» и на самом деле принадлежавших к местному революционному кружку. Давно уже подготовлявшаяся неизбежная полицейская гроза разразилась, наконец, со свойственной ей величавой силой.

Склонив управляющего на некоторые, вполне ничтожные уступки, усмирители отпечатали и распространили между стачечниками новые, смягченные издания «новых правил»², объявив, что всякий рабочий, отказавшийся подчиниться им, будет немедленно выслан на родину. К счастью, отказались *все*, а всех выслать было бы трудно даже для всемогущей русской полиции и невыгодно для фабрики.

¹ Свежая тогда новость.

² Одним из схваченных землевольцев был пишущий эти строки. В участке, куда привели арестованных, лежала на столе пачка «новых правил», напечатанных почти совершенно на таких же листках, на каких мы печатали наши воззвания. Я обратил внимание окологлазочного на редакцию этих правил: «Сначала в них идет речь о двух грошевых уступках, а дальше следует ряд статей, возвещающих понижение заработной платы. Надо было сделать наоборот: сначала возвестить о понижении платы, а потом уже обрадовать рабочих уступками. Таким образом они заели бы горькое сладким». — «Что прикажете делать, — возразил окологлазочный с видом глубокой, но грустной покорности судьбе, — рабочему человеку всегда будет горько, этого вы не перемените».

Стачечники очень сочувствовали арестованным революционерам¹. «Жаль, что не видели мы, как их брали, — говорили некоторые, — мы отбили бы их у полиции». Что же касается до арестов в их собственной среде, то они скорее ожесточали, чем запугивали рабочих. Во всяком случае дня через два после описанных происшествий снова поднялись толки о подаче наследнику забытого на время прошения, которое и было торжественно отнесено к Аничкову дворцу. Там его принял для передачи по назначению тогдашний градоначальник Козлов. Рабочие уверяли после, что, когда Козлов брал у них прошение, наследник стоял у окна и видел все происходившее. Это обстоятельство было, вероятно, плодом их фантазии, но тем не менее пришлось оно очень кстати. Никто не мог бы убедить впоследствии стачечников, что их прошение скрыли от наследника недоброжелательные к ним придворные.

Отнеся «бумагу» во дворец, градоначальник опять вышел к просителям и объявил, что теперь наследник приказывает им разойтись, ответ же на их просьбу он даст им через несколько дней. Рабочие тотчас же и совершенно спокойно исполнили это приказание.

Полиция притихла, не зная, как отнесется к прошению наследник, и стачка сделалась на время как бы совершенно законным явлением. О ней заговорили в газетах, осуждая действия фабричной администрации. Стачечники стали героями дня. Адвокаты предлагали им безвозмездные услуги, на них стремились посмотреть, как смотрят на модные диковины. Какой-то «нигилист», встретив случайно пары две этих интересных людей, затащил их к себе на квартиру, где их облюбовал целый десяток других «нигилистов», также непременно желавших видеть их у себя дома и показать друзьям, — и пошли наши рабочие гулять из одной нигилистической квартиры в другую, всюду возбуждая живейший интерес и с удивлением присматриваясь к незнакомому им миру. Впрочем, это были бойкие «ребята», умевшие показать себя и нимало не смущавшиеся непривычной обстановкой. Как сейчас помню визит их к одному либеральному адвокату, к которому затащили их «нигилисты», чтобы посовето-

¹ Арест мой продолжался всего один день. В качестве «нелегального» я имел недурной паспорт и носил ничем не запятнанное в глазах полиции имя какого-то потомственного почетного гражданина. Меня выпустили, обязав подпиской о невыезде. Я добросовестно исполнил это обязательство, так как долго после этого не покидал Петербурга.

ваться с ним «насчет стачки». Он встретил их торжественно и даже с некоторою робостью, как встретил бы провинциал, «знатного иностранца», а они, порядочно уже избалованные бестолковым вниманием интеллигенции и успевшие возгордиться своим званием стачечников, обращались с ним снисходительно и преважно развалились в его мягких креслах. Землевольтцы понимали, к каким нелепым последствиям может привести *подобное* сближение интеллигенции с рабочими. Они старались положить ему конец и при всяком удобном случае осмеивали его, как праздную забаву. Один из них уверял «нигилистов», что скоро в тайной землевольтческой типографии будет напечатано такое объявление: «В доме № X, в квартире № Y, по такой-то улице (при этом точно обозначалась квартира, наиболее прославившаяся частыми приемами рабочих) от 2 до 6 часов пополудни показываются рабочие, принадлежащие к редкой и интересной породе стачечников. За посещение обыкновенные нигилисты платят по 20 коп., выпущенные¹ по 10, нигилистки же смотрят бесплатно». Но насмешки действовали так же мало, как и увещания. В глазах многих «интеллигентов» путешествия рабочих по нигилистическим квартирам имели свою полезную сторону. Путешествия эти давали, повидимому, возможность повлиять на стачечников даже таким революционным кружком, которые, не имея никаких постоянных связей на Обводном канале, очень огорчались, однако, преобладающим и постоянно растущим влиянием там «Земли и Воли». Многие не сочувствовавшие «бунтарству» революционеры были убеждены, что под нашим влиянием стачка непременно кончится кровавой вспышкой. Напрасно говорили мы, что у нас нет на уме ничего подобного; нам не верили и радовались всякому случаю противопоставить нам более «мирное» влияние. В этом, конечно, не было бы большой беды, если бы противодействия нам велись хоть сколько-нибудь толково. Но что могло выйти из таких, например, собеседований с рабочими? «Мирный пропагандист» настигает нескольких стачечников в какой-нибудь «нигилистической» квартире, переполненной «интеллигентами», и заводит с ними неизбежный разговор о стачке.

¹ Под именем «выпущенных» известны были тогда революционеры, привлекавшиеся по делу о пропаганде в 37 губерниях и незадолго до «большого процесса» выпущенные на поруки. Их было тогда очень много в Петербурге.

— Вы хотите, разумеется, чтобы стачка сохранила совершенно мирный характер? — спрашивает он их утвердительным тоном.

— Конечно, мирный, — отвечают вопрошаемые. — Нам что ж? Нам пусть отменят «новые правила», а больше нам ничего не нужно!

— Никаких беспорядков вы делать не желаете?

— Да зачем же нам делать беспорядки?! Какой в них толк?

— Ну, вот и прекрасно, именно так поступать и нужно, — заключает вопрошатель и рассказывает потом, что он «сам» говорил с рабочими и убедился, что бунтарям они вовсе не сочувствуют.

Иногда случалось так, что, едва оставлял рабочих «мирный пропагандист», их ловил и принимался допрашивать какой-нибудь молодой сторонник «вспышек».

— Ну что, как у вас дела на фабрике?

— Да что ж наши дела, мы стоим на своем, а управляющий на своем, так вот и воловодимся.

— Не уступает?

— Нет, пока что, крепко держится, шут его возьми!

— Ну, вы, конечно, за себя постоите? Его, подлеца, надо так проучить, чтоб он и детям своим приказал притеснять рабочих!

— Да уж, само собой, не поддадимся, мы и фабрику-то всю разнесем вдрызг, машины переломаем. Вот он и считай тогда барыши!

Сторонник вспышек уходил, вполне убежденный, что стачечники настроены самым «бунтарским» образом. Сначала рабочие совсем не понимали, чего собственно хотят от них «интеллигентные» собеседники, и совершенно нелицемерно поддакивали людям противоположных мнений, так как на самом деле каждый стачечник, с одной стороны, вовсе не желал беспорядков, а с другой — очень не прочь был помечтать о хорошем уроке управляющему. Но потом они начали соображать в чем дело, поняли, какая разноголосица существует между «интеллигентными» революционерами, и пришли в тяжелое недоумение. «Ах, ты господи, твоя воля, — воскликнул при мне у Гоббста один только что вернувшийся «из города» рабочий, — каждый-то кружок решает наше дело по-своему. Вот тут и разбирайся!»

— А ты бы больше плялся по городу, не то бы еще услышал, — сердито заворчал на него Гоббст, который, как

человек бывалый и крепко державшийся раз принятого направления, нимало не смущался революционными разногласиями. Но его молодой товарищ и сам, помнится, скоро убедился, что ему совсем нет надобности «шляться по городу».

Так как серьезные связи на месте были у одних только «землевольтцев», то нечего и говорить, что влияние их на стачечников осталось непоколебимым. Рабочая масса по-прежнему видела в них «орлов» и с доверием прислушивалась к их советам. Мало того, обстоятельства складывались таким образом, что землевольтцы могли говорить с нею совсем откровенно. Наследник не сдержал своего обещания, совсем ничего не ответив на просьбу стачечников. Некоторые более доверчивые из них продолжали еще ждать и надеяться, но зато другие — и таких с каждым днем становилось больше — решили, что и наследник «не хуже градоначальника» тянет руку, управляющего. «Нечего было и ходить к нему, только сапоги трепали», — говорили теперь нередко те самые люди, которые прежде энергичнее всех стояли за подачу прошения. Вынесенный из деревни политический предрассудок быстро уступал место трезвому взгляду на вещи. Прежде стачечники смотрели на верховную власть, как на верную защитницу народных интересов, теперь они стали видеть в ней сообщницу капиталистов. Этот новый взгляд немедленно же выразился в неизвестно кем сочиненной басне о том, что наследник находится в интимной связи с женою управляющего и, кроме того, имеет свой пай в фабричном капитале. Едва ли кто из стачечников серьезно верил этой басне, но все охотно повторяли ее. Революционерам оставалось только подчеркивать те выводы, к которым пришли рабочие на основании собственного опыта.

Между тем, ничего не отвечая рабочим, наследник, очевидно, дал понять градоначальнику, что желает сохранить нейтралитет, и что поэтому полиция может действовать с обычным своим усердием. Для стачечников вернулось тяжелое время. Полицейские преследования возобновились и росли с каждым днем. Дошло до того, что околоточные врывались в артельные квартиры и с помощью городских насильно тащили рабочих на фабрику. Наиболее упорных отводили в участок, а оттуда в пересыльную тюрьму. По улицам разъезжали сильные казаки

и даже жандармские отряды, присутствие которых должно было подавлять у стачечников всякую мысль об открытом сопротивлении. Наконец, явилась еще одна редакция «новых правил», сулившая рабочим новые «уступки». Доведенные до крайности, они сдались, и после двухнедельного затишья Бумагопрядильня снова пошла полным ходом.

Стачка была подавлена не экономической силой капитала, а простым полицейским насилием: денежные сборы между «интеллигенцией» и рабочими разных промышленных заведений могли бы поддержать стачечников по крайней мере еще в течение целого месяца; дела же акционерного общества Новой Бумагопрядильни шли тогда далеко не так хорошо, чтобы оно могло вынести столь продолжительное «воздержание» от эксплуатации чужого труда. Его выручила полиция. Стачечники ясно видели это, и нам представлялся прекрасный случай выяснить им великое значение политической свободы. Они хорошо запомнили бы наши слова, так как всякая общая мысль, схваченная ими во время таких движений, чрезвычайно прочно укрепляется в их головах. Но мы сами презирали еще тогда «буржуазную свободу» и сочили бы себя изменниками, если бы вздумали восхвалять ее перед рабочими. В этом заключалась самая слабая сторона нашей тогдашней «агитации». Возбуждая рабочих против «властей» и «государства», она не сообщала им определенных политических взглядов и потому не придавала сознательного характера их неизбежной борьбе против *современного полицейского* государства. Замечательно, что с так называемым обществом те же землевольцы считали возможным говорить совершенно иначе: они выставляли перед ним, по крайней мере временами, довольно определенные *положительные* политические требования (см., например, фельетоны «Земли и Воли»). Противопоставляя «социализм» «политике», землевольцы считали борьбу за политическую свободу делом буржуазии, рабочих же продолжали звать на «чисто»-экономическую революцию.

Как бы там ни было, стачка на Новой Бумагопрядильне, несмотря на свой неудачный исход и на наши политические ошибки, принесла большую пользу делу рабочего движения в Петербурге. За ее ходом внимательно следили все петербургские рабочие, и многие очень «серые люди», наверное, пришли к тем же выводам относительно царской власти, какие сделаны были ткачами и

прядильщиками Обводного канала. С своей стороны, власть эта, нужно отдать ей справедливость, не упускала случая показать, что она всецело стоит на стороне капиталистов.

В конце ноября 1878 г. произошла стачка на прядильной фабрике Кенига за Нарвской заставой. Тамошние рабочие также вздумали обратиться с «прошением» к наследнику, и утром 2 декабря их выборные (30 человек) отправились к Аничкову дворцу. Августейший сынок не только не помог стачечникам, но даже не принял их прошения. Ясно было, что правду говорили рабочие Новой Бумагопрядильни, что ходить к наследнику значило только «сапоги трепать» без всякой пользы.

Впрочем, прядильщики кениговской фабрики не очень нуждались в подобном уроке. Для них не прошел даром опыт их товарищей с Обводного канала. По всему видно, напротив, что многие из них и раньше путешествия их выборных к Аничкову дворцу знали, где искать настоящих друзей. Хотя на этой фабрике совсем не велась революционная пропаганда, но стачечники с первого же дня забастовки решили сойтись со «студентами» и отправили несколько человек на Обводный канал разузнать, как можно найти этих людей, «помогающих рабочим». Ходжение к наследнику было предпринято с ведома революционеров и предпринято больше так себе, на всякий случай, чтобы окончательно убедить всех колеблющихся и сомневающихся, если бы оказались такие между стачечниками. Притом же следует помнить, что по русским законам стачка есть уголовное преступление, и что, ввиду этого, «прошения», подаваемые властям рабочими, имеют нередко значение встречного иска, противопоставляемого неизбежному иску фабриканта.

В подавлении стачки на фабрике Кенига синья полиция принимала более горячее участие, чем когда бы то ни было прежде. Рабочих прямо тащили в Третье отделение, где и происходили их объяснения с хозяином. Перед этим таинственным трибуналом г. Кениг утверждал, что рабочим у него не житье, а масленица, стачка же произошла вследствие «посторонних внушений». Он обещал даже узнать и сообщить полиции имена подстрекателей. В благодарность за это третье-отделенские политики готовы были благословить будущего доносителя на самые противозаконные действия. Во всем этом деле их, разумеется, больше всего интересовал вопрос о подстрекателях. Только

о подстрекателях и слышали рабочие, когда полиция принималась «разбирать» их жалобы на хозяина. «Вы слушаетесь злых людей, — кричал рабочим какой-то синий «генерал», явившись на фабрику в один из первых дней стачки, — у меня здесь сто шпионов следят за всем, что происходит у вас¹, но если хозяин найдет, что этого мало, я пришлю еще столько же! Как только узнаю, что к вам ходят бунтовщики, всех вас в Архангельск сошлю!» Рабочие уверяли, что никаких бунтовщиков они не знают, а между тем продолжали свои сношения с революционерами и еще более проникались уважением к этим прежде неведомым людям, которых так сильно боялись генералы всех цветов и хозяева всех гильдий.

Интересно, что стачка на фабрике Кенига начата была малолетними рабочими. Дело в том, что на бумагопрядильных фабриках получается много отброса, состоящего из порвавшихся ниток. Этот отброс образует возле станков кучи так называемой *пыли*. Сортировкой «пыли» на фабриках Кенига занимается особый разряд работниц. Но незадолго до описываемого времени директор рассчитал этих работниц и возложил сортировку пыли на так называемых «задних мальчиков»². Те «взбунтовались», заявивши мастеру, что не станут работать до тех пор, пока их не избавят от новой обузы. Кениг хотел было покончить дело поголовным изгнанием всех непокорных «задних мальчиков». Тогда вступили в стачку «средние мальчики» и взрослые рабочие.

Несмотря на все полицейские застрашивания, стачечники держались превосходно. Они не уступили даже тогда, когда Кениг решился на крайнюю меру, т. е. прогнал их *всех до единого*. Петербургские революционные рабочие кружки постарались пристроить их на других фабриках.

Тот же 1878 год ознаменовался некоторыми, правда, незначительными победами петербургских рабочих. Так, в конце августа на фортепианной фабрике Беккера (на набережной Большой Невки) так называемые ящичники, т. е. столяры, делающие деревянный ящик фортепиано, потребовали повышения заработной (поштучной) платы. Г. Беккер ответил, что они могут увеличить свой заработок,

¹ Заметьте, что всех рабочих у Кенига было не больше 200.

² Каждый прядильщик работал на двух станках, причем у него было два подручных «мальчика»: так называемый *средний*, 17—19 лет, и *задний* — 12—14 лет.

переставши «понедельничать», т. е. аккуратнее являясь на работу по понеделникам. Ящичники забастовали. Через три дня хозяин сдался.

Так же неудачно для хозяев кончились столкновения их с «рабочими руками» на табачных фабриках Мичри и бр. Шапшал. Эти столкновения интересны тем, что на названных фабриках работали исключительно женщины.

24 сентября в мастерских табачной фабрики Мичри появилось объявление, гласившее, что папиросницы, получавшие 65 коп. за 1 000 штук папирос первого сорта, впредь будут получать 55 коп., а за 1 000 шт. папирос второго сорта вместо прежних 55 коп. будет платиться 45 коп. Это понижение платы мотивировалось плохим сбытом товара. Мастерницы, как называют себя работницы, сорвали это объявление и пошли в контору для объяснений. Там они сказали приказчику, что не согласны работать за уменьшенную плату, и просили принять от них палочки и машинки для делания папирос. Тот обругал их непечатной бранью. Его грубость окончательно взорвала «мастерниц»: палочки, машинки и даже скамейки полетели в окна; приказчик струсил и послал за хозяином. Г. Мичри не заставил долго себя ждать. Он немедленно явился на фабрику, и ласковая речь его, а больше всего обещания уступки, успокоили толпу, состоявшую приблизительно из сотни женщин. Попытка понизить и без того невысокую плату окончилась полной неудачей.

Через два дня такая же история повторилась на фабрике бр. Шапшал на Песках. Там приказчик вывесил следующее объявление:

МАСТЕРИЦАМ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ ШАПШАЛ

Сим объявляю, что, по случаю остановки сбыта товара, я сбавляю с каждой 1 000 папирос по 10 коп.

Шапшал.

Мастерицы, здесь уже в числе 200, немедленно сорвали это объявление и на его месте вывесили новое:

ХОЗЯИНУ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ ШАПШАЛ

Мы, мастерицы вашей фабрики, объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.

Мастерицы вашей фабрики.

Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писавшую объявление. Они ответили, что это излишне, так как объявление писано от имени их всех, и стали уходить. Приказчик поспешил послать за хозяином. После напрасных попыток убедить мастериц работать за пониженную плату, г. Шалшал вынужден был уступить подобно г. Мичри.

В следующем, 1879 г. стачечная зараза охватила несколько фабрик одновременно. Обнаружилась она прежде всего на знакомой уже читателям Новой Бумагопрядильне.

С тяжелым сердцем уступив полицейскому насилию, рабочие Новой Бумагопрядильни говорили нам, что они покоряются не надолго и при первом же удобном случае опять забастуют. По правде сказать, мы не верили им, видя в их словах не более как желание утешить себя и нас в испытанной неудаче. Но мы ошибались. Уже в ноябре 1878 г. полиция имела много хлопот с неугомонной Бумагопрядильней. 8 ноября (Михайлов день) тамошние рабочие не явились на фабрику, мотивируя это тем, что, дескать, — праздник, работать грех. Но на других фабриках работа шла своим чередом, и управляющий Бумагопрядильни вздумал наверстать потерянное время удлинением рабочего дня с 13 часов, как было до тех пор (от 5 часов утра до 8 часов вечера, с вычетом 2 часов на еду), до 13¼ и продолжать работу при этом условии до тех пор, пока из маленьких кусочков времени не составит полный день. Два дня работа шла до 8¼ часов, возбуждая сильное неудовольствие рабочих. На третий день кому-то пришло в голову завернуть главный газопроводный кран в 8 часов. Как только эта мысль была приведена в исполнение, рабочие густой толпой повалили с фабрики, причем разбили несколько стекол и испортили девять основ. Верный друг «отечественной промышленности» — полиция не могла во-время явиться для восстановления «порядка», но зато на следующее утро на фабрику явилась целая орда охранителей, и в течение нескольких дней работа происходила в их благодетельном присутствии, хотя уже не до 8¼, а только до 8 часов. Началось следствие: кто потушил газ? Кто мог потушить? Человек семь рабочих таскали в участок. Пристав горячился и кричал, что «ушлет в Архангельскую губернию». Однако это не помогло. Рабочие отвечали, что ничего не знают. Одна женщина, работавшая недалеко от крана, показала на допросе, что кран завернул какой-то рабочий,

лицо которого было закрыто передником. Кто был этот рабочий, осталось неизвестным; дело пришлось передать «суду и воле божьей». С тех пор полиция стала зорко следить за рабочими.

15 января следующего года рабочие Бумагопрядильни по обыкновению пришли на фабрику рано утром. Несколько часов прошло обычным порядком; но перед обедом в ткацкое отделение явился главный мастер и вывесил объявление, приглашавшее 44 ткачей *к расчету*. На вопрос — за что такая немилость? — мастер ответил, что эти 44 человека выбрасываются на улицу за свое «бунтовство» и что впредь все неблагонадежные будут прогоняемы. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, ввиду постоянных бунтов, думает заменить ткачей-мужчин женщинами и детьми. Речь его была прервана взрывом негодования. Объявление было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать. После обеда они собрались перед воротами фабрики густой толпой, через которую не прошел ни один из тех, кто еще колебался пристать к стачке. Директор поспешил известить полицию о новом «бунте». Около фабрики забегали «фискалы», показались околоточные в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городовых. Но полиция пока еще не обнаруживала большой стремительности, вероятно потому, что не получила еще надлежащих наставлений свыше.

К вечеру того же дня ткачи решили, кроме отмены распоряжения об изгнании бунтовщиков, требовать также: 1) повышения заработной платы — 5 коп. на кусок ткани; 2) сокращения рабочего дня на 2½ часа; 3) отмены некоторых штрафов; 4) изгнания нескольких ненавистных им мастеров и подмастерьев; 5) присутствия выборных от рабочих при приеме сдаваемой ими ткани и, наконец, 6) выдачи им платы «за все время стачки, как будто работа и не прекращалась». Требования эти были немедленно записаны и, если не ошибаюсь, отпечатаны в тайной типографии «Земли и Воли».

Слухи о стачке на Новой Бумагопрядильне быстро распространились между фабричными, и на следующий день на Обводный канал явилось 40 выборных от ткачей фабрики Шау (Шавы, как произносили рабочие) за Нарвской заставой. «Шавинские» также решились забастовать и

предлагали «новоканавцам»¹ выработать общие требования. Правда, полного тождества в требованиях стачечников этих двух фабрик быть не могло, так как порядки, практиковавшиеся г. Шау, значительно отличались от порядков, существовавших на Бумагопрядильне. У «Шавы» работа шла безостановочно день и ночь, причем рабочие разделялись на две смены: одни сутки одна смена работала 16 часов, а другая — 8, следующие — наоборот. Трудолюбивый фабрикант не прекращал работы даже вечером накануне праздников: она приостанавливалась только в 6 часов праздничного утра. Г. Шау заботился также и о продовольствии рабочих: у него была мелочная лавка, в которой они *обязаны* были покупать продукты. Читатель легко может представить себе, как выгодно это было для заботливого капиталиста. Иногда, придя за покупкой в контору, рабочий узнавал, что весь его заработок ушел на уплату по его забору в хозяйской лавке.

С одобрения «новоканавцев» «шавинские» рабочие представили своему хозяину следующие требования:

1. Чтобы на каждый вытканый кусок прибавили платы по 5 коп.

2. Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.

3. Чтобы основы выдавали хорошие и чтобы материал выдавался при наших выборах.

4. Чтобы товар не браковали зря; чтобы за этим тоже следили наши выборные.

5. Чтобы не штрафovali за полом инструмента, за отсутствие из фабрики по болезни и надобности.

6. Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.

7. Чтобы на больницу платилось не по 1¼ коп. с рубля, а по 10 коп. в месяц.

8. Чтобы за кипяток² на фабрике рабочие не платили.

9. Чтобы утром давалось время с 8½ до 9 часов на завтрак.

10. Чтобы накануне праздников работа кончалась в 8 часов вечера.

11. Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем место для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

¹ Рабочие называли иногда Обводный канал Новой Канавой.

² Для чаю.

12. Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсентьева и Нефёда Ефимова, Николая Волкова и шпильника Кирилла Симонова. Нам от них житья нет! и мы с ними не хотим работать.

13. За время стачки денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

14. Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем, а тех, что теперь забрали, пусть выпустят¹.

Предъявленное фабриканту последнее (14-е) требование с формальной точки зрения может показаться бессмыслицей. Но в действительности оно имело большой практический смысл, так как аресты рабочих происходили по настоянию и нередко по личному указанию фабрикантов. Стачечники нашли полезным предупредить г. Шау, что даже в случае исполнения всех остальных требований они не станут работать, пока не прекратятся аресты и не будут освобождены арестованные.

На сходке представителей от обеих фабрик были, между прочим, обдуманы меры для поддержания беднейших из стачечников. Таких естественно должно было оказаться более у «Шавы», который грозился немедленно прекратить выдачу рабочим припасов из своей лавки. Решено было первые сборы предположительно сделать на всех фабриках и заводах. В этом смысле были напечатаны (разумеется, в тайной типографии) воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не была напрасной: сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти, а местами и переходило, в забастовку.

На фабрике Мальцева (на Выборгской стороне) разбросаны были воззвания стачечников. По этому поводу полиция арестовала рабочего, заподозренного в их разбрасывании; его товарищи заволновались. Пошли толки о том, чтобы последовать примеру «новоканавцев», но хозяин ласковым обращением и обещанием разных благ в будущем восстановил спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже была на Выборгской стороне) не удалось отделаться одними обещаниями: он вынужден был прибавить по 3 коп. на каждый кусок ткани. Волновались рабочие и

¹ Подробности об этих и некоторых предыдущих стачках заимствованы мною из 3 и 4 №№ «Земли и Воли», где они были описаны мною же на основании сведений, своевременно собранных на месте.

на Охте. Так заразительно подействовал пример. А тем временем полиция и фискалы делали свое дело.

Уже в ночь с 16-го на 17-е число произведено было несколько арестов. Арестованных было 6 человек из рабочих Шау, 20 человек с Новой Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д. Аресты еще более усилили раздражение рабочих. До 17-го числа только ткачи участвовали в стачке на Новой Бумагопрядильне. С того же числа к ней пристали и прядильщики; фабрика совсем остановилась. О подаче каких бы то ни было «прошений» теперь уже никто не думал. «Новоканавцы» только смеялись, когда мы напоминали им об их прошлогоднем хождении к наследнику: «то-то дураки-то были!» — говорили они.

На фабрику Шау в качестве миротворца явился некий «полковник». Рабочие подали ему письменное изложение своих требований и категорически заявили, что на меньшем не помирятся.

— Согласны вы на эти требования? — спросил полковник хозяина. Тот, разумеется, ответил отрицательно.

— Ну, так чего же вы, такие-сякие, хотите? — зарычал на рабочих миротворец, — да я вас!.. и т. д. и т. д. — получились обычные в таких случаях словеса «кротости и увещания», т. е. брань, украшенная непечатными словами... — У меня, — заключил храбрый воин, — сейчас 25 000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать!

— Больно уж много ты, ваше благородие, войска-то для нас наготовил-то, — насмешливо заметили рабочие, — нас всего-то здесь 300 человек и с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет больше сотни.

Полковник понял, что зарпортовался, и прикусил язык, приказав, для поддержания своего авторитета, схватить одного из остряков, но толпа окружила эту жертву полковничьего смущения и отстояла ее от полицейских покушений. Так и уехал ни с чем воинственный миротворец.

Не желая обращаться к властям ни с какими *прошениями*, стачечники предъявили им теперь очень настоячивые *требования*. Так, например, рабочие Новой Бумагопрядильни решились требовать освобождения своих товарищей, арестованных ночью с 16 на 17 января. 18-го числа, часов около 10 утра, толпа около 200 человек собралась недалеко от здания фабрики. Здесь было прочитано и одобрено следующее заявление:

«Мы, рабочие Новой Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все

наши заявленные хозяину требования. Что же касается полиции, то мы отказываемся от всякого вмешательства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи, люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чем-либо, пусть судят их у мирового, причем мы все будем свидетелями их невинности. Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что противно даже существующим законам».

Когда читалось это заявление, подошел околоточный; он предложил рабочим пойти к участку для объяснения с приставом, но они предпочли переговорить с градоначальником. Путь их к дому градоначальника лежал через Загородный проспект. На нем есть или, по крайней мере, был дом «мещанской гильдии» с проходным двором. Едва рабочие прошли через этот двор и вышли на Фонтанку, их атаковали жандармы с приставом Бочарским во главе, тем самым приставом, который только что приглашал стачечников притти к нему для объяснений. По всей вероятности, полиция, еще накануне узнавши о намерении рабочих добиваться освобождения заключенных, заранее приготовилась к отпору, и переданное околоточным приглашение пристава было простой ловушкой. Видя, что не удастся заманить рабочих в участок, г. Бочарский пустился преследовать их, как фараон убежавших из Египта евреев.

Произошла свалка. Жандармы мяли лошадьми рабочих, рабочие защищались, как умели. У некоторых оказались кистени, а знакомый уже читателю Иван, опять принявший горячее участие в стачке, вытащил даже кинжал и ранил им лошадь наскочившего на него жандарма. Но силы были слишком неравны, нападение было слишком неожиданно. Жандармы победили. К счастью для рабочих упомянутый проходной двор обеспечил им довольно безопасное, хотя и беспорядочное отступление.

Со времени этой битвы полиция удесятерила свою энергию. Начались беспрерывные аресты. Нескольких так называемых зачинщиков выслали на родину, других — в северные губернии. Рабочих били и даже грабили¹. Лавочникам полиция прямо запретила давать стачечникам в

¹ Один из стачечников проходил недалеко от Новой Бумагопридильни, играя на гармонике. На него бросился жандарм и выхватил гармонику. Рабочий отправился жаловаться на этот «дневной грабеж» в участок. Его выругали, а гармоники не возвратили.

долг продукты. Зараженные стачкою местности были буквально наводнены «силицей жандармскою». Через несколько дней упорного сопротивления рабочие сдались, получив некоторые ничтожные уступки.

Эта новая неудача изменила настроение бывших стачечников разве только в смысле еще большего озлобления против всяческого начальства и еще большего сочувствия к революционерам. Рабочая среда вообще все более привыкала смотреть на революционеров, как на своих естественных друзей и союзников, а на тайную «Землевольтческую» типографию, как на орудие гласности, всецело предназначенное к их услугам. Такой взгляд укреплялся даже в тех уголках Петербурга, куда не проникала революционная пропаганда.

Однажды мне, как члену редакции «Земли и Воли», передали конверт с надписью: *Господину редактору*. Я нашел в нем две четвертушки серой бумаги. «Господин редактор, — написано было на одной четвертушке, — пожалуйста, напечатайте наше воззвание, и, если нужно, будьте так добры, поправьте». На другой написано было воззвание: *«Голос рабочего народа, работающих и страдающих у подлеца Макселля»*. В возвании говорилось, что рабочие фабрики Макселля, доведенные до крайности хозяйскими притеснениями, видят себя вынужденными прибегнуть к стачке и, сообщая об этом остальным петербургским рабочим, просят их поддержки. Текста возвания я на память, разумеется, восстановить не могу. Помню только одну фразу из середины: *«мы работаем, стараемся, а он свенья не доволин нами»*, — да заключительные слова: *«Будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого»*. Зато я хорошо помню общее впечатление, произведенное возванием на меня и на моих товарищей по редакции. Мы положительно пришли в восторг. Столько свежего чувства, столько простоты и непосредственности, столько трогательной неумелости и вместе с тем столько неотразимой убедительности было в этой далекой не грамотной прокламации, что мы сочли непозволительным делать в ней какие-нибудь существенные изменения и ограничиться исправлением грамматических ошибок. Едва ли не на следующий же день воззвание было отпечатано и передано авторам.

Вот что узнал я о причине неудовольствия макселлевских фабричных.

Низкая плата, непомерно длинный рабочий день, штрафы и придирки мастеров и подмастерьев, — все это, разумеется, имело место на фабрике г. Макселля, как и на других фабриках. Но этот находчивый предприниматель внес, кроме того, еще одну особенность в практикуемый им способ эксплуатации рабочей силы. Около своей фабрики (за Невской заставой) он выстроил большой дом для помещения своих рабочих. Другими словами, к выгодному ремеслу фабриканта он решил присоединить тоже не безвыгодное ремесло домовладельца. Надо отдать ему справедливость, дом его был построен очень хорошо, жить в нем было бы очень удобно, несравненно удобнее, чем в тех грязных домах без воздуха и света, где ютились его рабочие. Беда заключалась лишь в том, что назначенные г. Макселлем квартирные цены были сравнительно очень высоки и уж во всяком случае не по средствам фабричных рабочих. Вот почему те и не хотели селиться в его фаланстере. С своей стороны, просвещенный капиталист так твердо решился облагодетельствовать свои «рабочие руки», что не отступал даже перед очень крутыми мерами. Он грозил немедленно прогнать с фабрики всех консерваторов, отказывающихся жить в его доме. Отсюда — раздражение рабочих, решившихся стачкой положить конец оздоровительному упорству г. Макселля. Совершенно без всяких «посторонних внушений» и помимо всякого влияния затронутых революционной пропагандой «бунтовщиков», — таких не было на их фабрике, — они выработали план действий, а для исполнения его сочли необходимым обратиться за помощью к рабочему населению Петербурга и к революционному обществу «Земля и Воля». Нечего и говорить, что воззвание было написано ими самими, но следует прибавить, что мысль о нем подана была им примером «шавинских» и «новоканавских» рабочих, которые, как я уже сказал, во время своей стачки обращались с воззванием «к рабочим всех петербургских фабрик и заводов». Вероятно, это последнее воззвание тогда же попало на фабрику Макселля, очень вероятно также, что макселлевские рабочие не отказались поддержать «новоканавских» и «шавинских» стачечников своими трудовыми грошами и теперь были уверены, что и им не откажут в такой же поддержке. Заключительные слова «голоса рабочего народа, работающих и страдающих у подлеса Макселля» были целиком заимствованы из одного воззвания, напечатанного по поводу второй стачки на Обводном

канале. Эти слова: «будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого», — как видно, хорошо выразили тогдашнее настроение петербургских рабочих, потому что после неизменно повторялись ими во всевозможных случаях их борьбы с полицией и предпринимателями.

Вообще в то время рабочее движение росло с небывалой быстротой. Любопытно видеть, как отражалось это явление в тогдашней революционной литературе.

Передовая статья № 4 «Земли и Воли», вышедшего в свет 20 февраля 1879 г., целиком посвящена была вопросу о роли городских рабочих «в боевой народно-революционной организации». «Волнения фабричного населения, — говорится в этой статье, — постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас раньше, чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации. Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самую жизнь, самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, *вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей*»¹. Чрезвычайно характерно это незначай вырвавшееся у народника признание. Рабочий вопрос, действительно, самую жизнь выдвигался вперед, *наперекор* народнической догматике. Неудивительно, что разрешить его с помощью этой догматики было совершенно невозможно. Народническая интеллигенция могла лишь, подобно автору указанной статьи², рекомендовать рабочим-социалистам «агитацию», «агитацию», «агитацию» и «агитацию», да упрекать их в том, что они, будто бы забывая об этой агитации, слушают «чтения о каменном периоде или о планетах небесных». К началу 1879 г. *рабочее движение* переросло *народническое учение* на целую голову. Ввиду этого неудивительно, что наиболее развитая часть петербургских рабочих, вошедшая в основанный около того времени «Северно-русский рабочий союз», в своих политических взглядах и стремлениях значительно разошлась с бунтарями-народниками.

¹ Курсив мой.

² *Примечание ко второму изданию.* Должен признаться, что ее автором был я сам.

IV.

«Северно-русский рабочий союз» естественным образом возник из того ядра петербургской рабочей организации, которое, как я говорил выше, составилось из «старых», испытанных революционеров-рабочих. Формальное основание Союза относится, насколько могу припомнить, к концу 1879 г. Уже с первых недель своего существования он насчитывал не менее 200 членов, а вокруг него группировалось по крайней мере столько же рабочих, сочувствующих, но еще не посвященных в организационную тайну. Большинство членов его принадлежало к числу «заводских». В каждом значительном рабочем квартале Петербурга были особые кружки, составлявшие местную ветвь Союза. Каждая ветвь имела свою кассу и свою «конспиративную» квартиру. Для заведывания ее делами выбирался небольшой комитет. Члены местного комитета были в то же время членами *Центрального кружка*, который собирался через известные промежутки времени по общим делам Союза. В распоряжении *Центрального кружка* находилась особая касса, а также союзная библиотека. Центральная касса, как и местные кассы, пополнялась членскими взносами. Около времени второй стачки на Новой Бумагопрядильне в ней было рублей 150—200. Эта «свободная наличность», как выразился бы русский министр финансов, вся ушла на поддержку стачечников, но члены Союза исправно делали свои взносы, и потому пустою касса его никогда не оставалась. Что касается библиотеки, то ею особенно дорожил и гордился Союз. И действительно, она была самым ценным его достоянием. Составилась она частью из купленных рабочими, а больше из пожертвованных интеллигенцией книг. Собирались эти книги в течение целого года, и собирались так старательно, что едва ли хоть один гражданин «интеллигентной» республики Петрополя избежал неожиданного книжного налога. Много хламу подарила рабочим интеллигенция, но подарила не один хлам. По пословице «с миру по нитке — голому рубаха», у Союза образовался большой запас книг по различным отраслям знания. Число книг было так велико, что нельзя было хранить их в одной рабочей квартире. Вследствие этого библиотека была подразделена на несколько частей и развезена по различным рабочим кварталам. Каждый квартал имел своего библиотекаря, у которого был полный список *всех* принадлежавших Союзу

книг. Если кто-нибудь из членов местной ветви выбирал по этому списку такое сочинение, которого не было в библиотеке данного квартала, то библиотекарь представлял заявленное требование очередному собранию Центрального кружка, и книга доставлялась из другого квартала. Благодаря такой постановке дела полиции все же не так легко было открыть существование библиотеки и «накрыть» ее обладателей. Пользовались книгами через посредство знакомых членов и не принадлежавшие к Союзу рабочие, но о существовании библиотеки, разумеется, не знали.

Практика скоро обнаружила главнейший недостаток новой организации. Союз, как целое, мог действовать только по решению Центрального кружка, собиравшегося раза два в неделю. Занятые работой и живущие в различных частях города, а иногда и за городом, члены Центрального кружка не могли встречаться чаще. Но в промежуток времени между двумя его собраниями могли совершиться события, требовавшие немедленного действия со стороны Союза. Как поступить в таком случае, устав не говорил. Когда началась вторая стачка на Новой Бумагопрядильне, до очередного собрания Центрального кружка оставалось два дня. Халтурин, тотчас узнавший о ней, очутился в очень затруднительном положении: стачка легко могла быть подавлена полицией еще до *очередного* собрания; а между тем, чтобы обегать всех членов Центрального кружка и созвать их на *чрезвычайное* собрание (известно, что к почте русские революционеры по понятной причине прибегают очень неохотно), надо было тоже не менее двух дней. Замедление во всяком случае было неизбежно, и Халтурину пришлось на первое время ограничиться личными сношениями со стачечниками. Придать организации Союза большую подвижность можно было лишь избранием особого распорядительного комитета, состоящего из небольшого числа лиц и имеющего право в важных случаях действовать по собственному усмотрению, не дожидаясь очередного собрания. К этой мысли, кажется, и пришли потом члены Союза.

Возникновению Союза нельзя было не радоваться даже с нашей тогдашней, народнической, точки зрения. Но программа его причинила нам не малое огорчение. В ней — о, ужас! — прямо было сказано, что рабочие считают завоевание политической свободы необходимым условием дальнейших успехов своего движения. Мы, презиравшие «буржуазную» свободу и считавшие ее опасной

ловушкой, оказались в положении курицы, высидевшей утят. В особой заметке, посвященной обзору новой программы, редакция «Земли и Воли» мягко, но решительно высказалась против неприятной ей рабочей ереси. В заметке повторены были те доводы, которые обыкновенно выставлялись народниками и бакунистами против «политики». Но членам Союза такие доводы уже перестали казаться убедительными. В ответ на заметку они прислали длинное письмо в редакцию, в котором говорили, что решительно не видят, как может успешно идти рабочее движение при отсутствии политической свободы, и каким образом для рабочих может быть невыгодно приобретение ими политических прав¹. Тяжело было народникам слышать от рабочих — и каких рабочих! — члены Союза составляли сливки революционного рабочего Петербурга — столь «буржуазные» рассуждения. Но еще тяжелее поразило их почудившееся им в письме презрение Союза к крестьянству. Дело в том, что, защищая свое требование политической свободы, авторы письма сказали, между прочим, что ведь они, рабочие, не *Сысойки*². Это выражение истолковано было революционной интеллигенцией в смысле кичливого презрения к крестьянству. Но правильно ли было подобное истолкование? Конечно, нет. Слова — «мы не Сысойки» свидетельствовали только о том, что русские рабочие уже тогда стояли бесконечно выше того «простонародья», на которое ссылались все социалисты — противники политической свободы. С давних пор наши социалисты из «интеллигенции» утверждали, что как у нас в России, так и за границей, «простонародью» не нужно свободы печати, потому что книг и газет оно не читает и, следовательно, цензурным уставом не интересуется; что ему не нужно политических прав, потому что, задавленное бедностью, оно политической жизнью своей страны не интересуется; что его интересы затрагиваются только *экономическими* порядками, *политические* же формы для него безразличны и т. п. и т. п. Так рассуждал иногда еще Чернышевский и так же рассуждали мы, когда

¹ К сожалению, у меня нет № 5 «Земли и Воли», в котором появилось письмо рабочих, и окончания № 4, содержащего вышеупомянутую заметку редакции. Поэтому я указываю только на общий смысл поднявшейся полемики, который я очень хорошо помню.

² *Примечание ко второму изданию.* Сысойка — герой известного романа Решетникова «Подлиповцы» — был, как известно, совсем диким человеком, пока оставался в своей деревне.

предостерегали рабочих от увлечения политикой. Но развитому рабочему очень трудно было согласиться с нами. «Как же это так? Простому человеку не нужно свободы печати, потому что он *ничего не читает*; не нужно политических прав, потому что он *не интересуется* борьбой политических партий! Что же хорошего в простом человеке, отличающемся подобными отрицательными свойствами? Ведь это дикарь-Сысойка! И ведь пока простонародье будет состоять из дикарей-Сысоек, социализм останется несбыточной мечтой! Простонародье *должно читать*, а потому оно *должно добиваться свободы печати*; оно *должно интересоваться* политическими делами своей страны, а потому оно *должно добиваться политических прав*; оно *должно иметь свои союзы и собрания*, а потому оно *должно добиваться свободы союзов и собраний*. И не только *должно*. Оно отчасти *уже* читает книги, *уже* чувствует потребность в союзах и собраниях, *уже* стремится выступить на политическую арену. Оно *уже* переросло дикарей-Сысоек. Мы, рабочие, *уже* не таковы, каким воображают народ его интеллигентные доброжелатели. Доказательством этому служит наше собственное движение. Но все это только начало. Если мы хотим идти вперед, нам непременно нужно сбить заграждающие наш путь полицейские рогатки!» Вот смысл ответного письма Союза и в особенности слов: «мы не Сысойки». Может быть, авторы письма не вполне выяснили его себе тогда со всех сторон; может быть, Сысоек они упомянули не затем, чтобы одним метким словом характеризовать тот идеальный «народ», который бунтари готовы были противопоставлять будто бы зараженному буржуазным духом петербургскому пролетариату. Но характеристика все-таки была дана, хотя бы и не преднамеренно. Северно-русский рабочий союз сознавал, что он состоит не из Сысоек. И именно это сознание свидетельствовало об его политической зрелости.

Как бы там ни было, будущий историк революционного движения в России должен будет отметить тот факт, что в семидесятых годах требование политической свободы явилось в рабочей программе *раньше, чем в программах революционной интеллигенции*¹. Это требование сближало

¹ *Примечание ко второму изданию.* Говоря это, я имею в виду наиболее деятельную и наиболее влиятельную часть тогдашней революционной интеллигенции: народников. Кроме народников, были тогда полу-либералы, толковавшие о политической свободе. Они издавали «Начало», но влияния они не имели.

Северно-русский рабочий союз с западно-европейскими рабочими партиями, придавало ему *социал-демократическую окраску*. Говорю — *окраску*, потому что вполне социал-демократической программу Союза признать было бы невозможно. В нее вошла не малая доза народничества. Этой прилипчивой болезни трудно было избежать в России, да притом авторы программы, разойдясь с нами по коренному вопросу о политической свободе, не чужды были, кажется, желания позолотить пилюлю, порадовав нас целой кучей народнических требований.

Напечатанная в виде отдельного листка программа Союза не была, к сожалению, перепечатана ни в одном революционном издании. Найти ее теперь можно было бы только в архивах покойного Третьего отделения. Говоря о ней на память, я, разумеется, не могу входить ни в какие подробности.

Известие об основании Союза радостно встречено было рабочими всюду, куда оно проникло. Варшавские рабочие приветствовали петербургскую организацию адресом, в котором говорили, что пролетариат должен быть выше национальной вражды и преследовать общечеловеческие цели. Союз отвечал им в том же духе, выражал надежду на скорую победу над общими врагами и заявлял, что не отделяет своего дела от дела рабочих всего мира. Это был едва ли не первый пример дружеских сношений русских рабочих с польскими.

Союз не думал ограничивать поле своей деятельности одним Петербургом. Самое название его (*Северно-русский союз*) принято было лишь на время, лишь до тех пор, пока не пристанут к нему рабочие провинциальных городов. Идеалом вожяков Союза была единая и стройная *все-российская рабочая организация*.

V.

Что представляли тогда собою провинциальные рабочие? Насколько коснулось их революционное движение? Читатель знает, что пропаганда между рабочими считалась народнической интеллигенцией побочным делом; что ее революционные программы никогда не отводили рабочему классу самостоятельной роли. Главные силы интеллигентных революционеров направлялись на крестьянскую массу. Отсюда вытекали такого рода, на первый взгляд странные, явления.

Как промышленный центр, Москва почти не уступает Петербургу. Но в Петербурге происходило значительное рабочее движение, в Москве оно было слабее, чем в Киеве или в Одессе. «Рабочее дело» всегда было связано своими успехами случайным причинам. Центром северно-русских революционных организаций интеллигенции являлся Петербург. Там всегда было много свободных революционных сил. И уже одного этого было достаточно, чтобы там началась пропаганда между рабочими. Из Москвы революционные силы стремились в Петербург, или даже в большие города юга. В Москве «рабочее дело» могло бы начаться только в том случае, если бы ему придавалось самостоятельное значение. Но это условие отсутствовало, поэтому и было слабо в Москве «рабочее дело».

В Саратове очень была мало развита фабрично-заводская промышленность; тамошние рабочие были по преимуществу мелкими ремесленниками, а между тем в 1877—1878—1879 гг. там постоянно жил то тот, то другой «землеволец», занимавшийся исключительно пропагандой между рабочими. Владимирская губерния усеяна фабриками, ее население местами сплошь состоит из фабричных рабочих, но никому из землевольцев и в голову не пришло поселиться во Владимирской губернии. Отчего это? Понятно, отчего! Поволжье считалось местностью, в которой крестьянство еще сохранило свои революционные «предания». Поэтому оно избрано было главной ареной «бунтарской» деятельности. В Самарской, в Саратовской, в Астраханской губерниях заводились «поселения в народе», Саратов был главной квартирой действовавших в «народе» землевольцев. Поэтому они считали полезным и нужным обеспечить себе поддержку со стороны его рабочего населения: когда поднимется поволжское крестьянство, пригодятся и саратовские ремесленники. Во Владимирском же промышленном округе торжествовал капитализм, в этой несчастной местности с незапамятных времен прекратились значительные крестьянские движения, в ней умерли народные «предания», исказились народные «идеалы». Поэтому ходить туда землевольцам было незачем. *Призрак оказался сильнее действительности. Мертвый схватил живого* — по известному французскому выражению. Постоянно мелькавшие в воображении бунтарей тени Разина и Пугачева больше влияли на распределение революционных сил, чем действительный ход русского экономического развития. До какой степени ошибались бунтари в оценке

живых сил народа, может показать следующий замечательный факт. В 1878 г. землеvolьцы много толковали о том, чтобы проникнуть в Ярославскую губернию. Вы подумаете, может быть, что их почему-либо привлекало к себе тамошнее *рабочее население*. Совсем нет, о тамошних рабочих они забыли и думать. Тут была другая и уж поистине более тонкая причина. Из «Сборника правительственных сведений о раскольниках» Кельсиева землеvolьцы узнали, что в Ярославской губернии процветала когда-то секта бегунов. Один бунтарь «слышал» даже, что и теперь существуют бегуны в одном селе Ярославской губернии. Вот и думали снарядить экспедицию для их изловления. Но бегун потому и называется бегуном, что вечно бегает. Изловить его не так легко, как «поселиться» среди мирно живущего под игом своих «идеалов» крестьянства. Увидя, что подступа к ярославским бегунам не имеется, бунтари махнули рукой на Ярославскую губернию. Интересоваться ею из-за одних рабочих не позволяла программа.

В тех же провинциальных городах, где интеллигенция по тем или другим причинам находила нужным шевелить трудящееся население, рабочие кружки непрерывно существовали с самого начала семидесятых годов. Иногда их разбивала полиция, иногда, вяло поддерживаемые интеллигенцией, занятой другим делом, они действовали очень вяло, но в общем почва для революционной рабочей организации была и в провинции подготовлена довольно хорошо.

В Одессе рабочая масса настолько сочувствовала революционерам, что во время суда над Ковальским (в июле 1878 г.) она принимала деятельное участие в демонстрации перед зданием суда¹. Относительно Харькова у нас

¹ См. статью «Одесса во время суда над Ковальским» в № 2 «Земли и Воли». «Из пяти дней судебного разбирательства три выпали на долю праздничных, когда народ не работает, — говорит автор этой статьи. — Это обстоятельство в значительной степени содействовало скоплению публики у здания суда». Как вела себя эта в *значительной степени* рабочая публика, читатель может видеть из той же статьи. Я приведу из нее только один эпизод. Когда войска оттеснили толпу от суда, часть ее направилась к приморскому бульвару. «На бульваре аристократия сибаритничала за столами, уставленными напитками и яствами. — Сволочь! — обратился один рабочий к благодушствующим, — вы обедаетесь и оживаетесь в ту минуту, когда осуждают людей на смертную казнь! Палачи предают смерти одного из лучших сынов русской земли, а вы любуетесь прекрасными видами! Будьте вы прокляты!». Это было сказано среди бела дня, под солдатскими ружьями и казацкими пиками.

есть любопытное свидетельство местного губернатора. «Социальные учения, — писал он в своем «всеподданнейшем» отчете за 1877 г., — к счастью и несмотря на делаемые многочисленные попытки со стороны злоумышленников, можно сказать, вовсе еще не проникли в среду сельского населения, остающегося верным началам религии, нравственности и порядка. Нельзя того же сказать о низшем классе городского населения, которое, подкапываемое социальными учениями, во многом утратило прежнюю неприкосновенность религиозных верований и патриархальности семейных отношений. Класс фабричных рабочих, весьма многочисленный в Харькове¹, требует усиленного надзора и не представляет залогов устоячивости против распространения новых учений. В среде этого населения революционная пропаганда встречает постоянное сочувствие, и в случае какого-либо движения в смысле перехода от теории к действию класс харьковских рабочих в огромном большинстве своем не представит отпора возмутителям. В этом отношении заслуживают особого внимания подслушанные агентом полиции в среде фабричного населения разговоры об обременительности податей, о неизвестности, на что и куда тратятся деньги, забираемые с народа, о бесконтрольности правительства и тому подобные суждения, не слыханные в простом народе еще несколько лет тому назад. Конечно, свобода суждений повременной печати могла частью навеять подобные мысли, но несомненно, что главными виновниками подобного настроения фабричного населения это — распространители революционной пропаганды, усиленно работающие между фабричными города Харькова. Вообще политическое состояние губернии, спокойное в отношении массы сельского населения, поместного дворянства и вообще владельцев недвижимой собственности, весьма тревожно в отношении низших классов городского населения, учащейся молодежи и тех подонков общества, не имеющих ничего терять, которые столь многочисленны в больших городах»². В отчете екатеринославского губернатора за

¹ Это неверно, фабричных рабочих вовсе было тогда немного в Харькове, но не в том дело.

² См. «Извлечение из всеподданнейшего отчета харьковского губернатора за 1877 г.» в № 2 «Земли и Воли». «Подслушанные агентом полиции «толки» о бесконтрольности правительства» и т. д. показывают, что и харьковская рабочая среда начинала сознавать значение политических прав и политической свободы. Казалось бы, что нашим либералам нужно было прежде всего искать опоры в подобной среде.

1879 г., наверное, заключались столь же резкие выражения по адресу «низшего класса населения» Ростова-на-Дону. Известно, что у ростовской полиции были в том году большие неприятности с рабочими.

Дело было так. Не помню точно, в какой день праздника пасхи, полицейские схватили на базаре подгулявшего рабочего и потащили его в часть, не жалея, как водится, пинков и подзатыльников. «Братцы, заступитесь, — кричал рабочий покрывавшему базарную площадь народу, — изувечат меня в части!» Народ зашевелился; довольно значительная группа рабочих последовала за уводившими арестованного полицейскими, прося их отпустить его. Те отвечали ругательствами и, введя арестованного в здание части, принялись колотить его не на живот, а на смерть. Услыхав его отчаянные крики, эта группа стала бросать камни в окна и ломиться в ворота частного дома. Группа быстро разрослась в толпу. Кто-то крикнул, что следует разнести всю часть. Сделать это было не так-то легко: ее крепкие ворота были заперты, а в окнах нижнего этажа стояли городовые с обнаженными шашками и револьверами. Начался правильный приступ. Несколько дюжих молодцов притащили откуда-то огромное бревно; толпа поняла их мысль, бревно схватили десятки рук; распевая «дубинушку», им стали действовать как тараном, и через несколько минут ворота были выбиты. Народ ворвался в часть. Полицейские, которые успели тем временем сделать несколько выстрелов в нападавших, моментально скрылись. В самое короткое время часть была разнесена. Покончив с нею, толпа бросилась на другие полицейские части, потом опустошила квартиры полицеймейстера и некоторых квартальных. О сопротивлении ей никто не думал. Полуживой от страха полицеймейстер прятался в Нахичевани, а военные власти Ростова не уверены были даже в том, что им удастся оборонить банк и острог (где сидело несколько «политических»). Разумеется, полетели

Но они, по крайней мере многие из них, ни о чем так охотно не рассуждают, как о незрелости и непригодности русского рабочего класса к борьбе за политическую свободу. Удивительно проницательные и глубокомысленные люди!

Примечание ко второму изданию. Так было до недавнего времени; так остается, пожалуй, и теперь; но теперь есть некоторые основания думать, что скоро передовая часть нашей буржуазии радикально изменит свое отношение к политическому движению рабочих. Она постарается подчинить его своему влиянию. Понятно, это не в интересах социал-демократов.

телеграммы к губернатору; из Новочеркасска двинулись для усмирения казаки, а в Таганроге стала готовиться к выступлению артиллерия¹. Но пока что город был в руках «бунтовщиков».

Я приехал в Ростов на другой же день после «разнесения» частей и видел все его следы. Невозможно представить себе картину более полного опустошения. В зданиях частей выломаны были полы, выбиты стекла с рамами и двери с притолоками, разрушены печи, попорчены дымовые трубы и крыши. И на далекое расстояние мостовая, усеянная обломками мебели, покрыта была, как снегом, мелкими клочками разорванных полицейских бумаг.

— Какая дикость! — воскликнет иной благовоспитанный читатель. Пожалуй, — дикость. Но ведь противодействие равняется действию, и странно удивляться, что *дикий произвол полиции* вызывает *дикую, подчас, ярость народа*.

А в то же время заметьте, что эта разъяренная толпа умела вполне сохранить свое достоинство. *Никто из опустошителей не позволил себе взять ничего из уничтожаемого имущества полицейских*. Это тогда же подтверждено было всеми очевидцами. Только когда стали «разносить» дом полицеймейстера и выкинули на улицу несколько штук прекрасного полотна, какой-то солдат попросил себе кусок на рубаху. Толпа удовлетворила просьбу «служивого», тут же уничтожив весь остаток.

Еще одна интересная черта. Разбивши одну часть и направляясь к другой, толпа проходила мимо еврейской синагоги. Мальчик кинул камень в ее окно. Его сейчас же остановили. «Не трогай жидов, — сказали ему, — нужно бить не жидов, а полицию».

Настоящая дикость выступила на сцену только ночью в лице многочисленных в Ростове «босяков». Буйно провела эту ночь и вдоволь потешилась ростовская «босая команда»! Обрадовавшись отсутствию полиции, она прежде всего поспешила разграбить питейные дома, а потом, напившись до беспамьтства, обрушилась на публичные дома и стала бить несчастных проституток. Явившиеся на следующее утро войска положили конец этим безобразиям, в которых рабочие совсем не участвовали и которыми они

¹ Вскоре после этого я познакомился с одним из стоявших в Таганроге артиллерийских офицеров. «У нас офицеры говорили, что они не станут стрелять в народ», — сказал мне мой новый знакомый. Не знаю, как другие, а *этот человек не ограничился бы словами*. Впоследствии он делом доказал свое сочувствие революционерам.

возмущались до такой степени, что и без прихода войск их антиполицейское движение, вероятно, прекратилось бы в силу естественной реакции против подвигов босой команды.

Несмотря на такой неожиданно-плачевный оборот ростовской «революции», воспоминание о ней долго еще ободряло рабочих, как наглядный пример того, что народ может дать хороший урок даже и всемогущей в России полиции.

Мне рассказывали, что, когда слух о «разнесении» ростовской полиции дошел до углекопов донецких копей, они двинулись отрядом в 150—200 человек на помощь ростовцам, но дорогой узнали о восстановлении «порядка» и поспешили возвратиться домой. За достоверность этого слуха я совсем не ручаюсь.

Что касается существовавших в провинциальных городах революционных рабочих кружков, то лично я знал такие кружки в Ростове, Саратове, Киеве и Харькове. По составу своему они были гораздо разнообразнее, смешаннее петербургских. В них попадались члены, по развитию и по высокому уровню потребностей не уступавшие петербургским заводским рабочим, но рядом с ними попадались и совсем «серые», иногда неграмотные. Нередко преобладали в них мелкие самостоятельные ремесленники, и притом не подмастерья, а именно *хозяева*. В Петербурге я совсем не встречал подобных последователей социализма и чувствовал себя в странном положении, когда, случалось, революционер-*хозяин* советовал мне остерегаться его *работника*, как *ненадежного* человека. «Да, ведь, ты сам эксплуататор, ведь на тебя два рабочих трудятся», — шутил иногда со своим приятелем-портным переехавший из Петербурга в Саратов «заводской» В. Я. Портной конфузился. «Да что же делать-то, брат ты мой? Я и сам не рад, что теперь такие порядки, а жить-то тож надо. Вот придет революция, тогда уж не буду «эксплоататором».

Мне хотелось допытаться, откуда берется недовольство у людей этого слоя, какая из темных сторон их положения яснее всего отражается в их сознании. «Очень уж нас притесняет дума, все городские расходы на нас, бедняков, сваливает», — объяснил мне один ростовский мещанин, горячий революционер, имевший свою кузницу и нескольких подмастерьев. Возможно, что и многие другие ремесленники-революционеры были разбужены прежде всего безобразиями нашего городского «самоуправления».

«Чарочка», «пьянка», к сожалению, слишком привлекательны иногда для русских ремесленников. В этом отношении они далеко оставляют за собою фабричных и заводских рабочих, у которых я редко замечал склонность к сильному злоупотреблению спиртными напитками.

На Волге и на Дону между рабочими-революционерами попадались люди, прежде придерживавшиеся раскола. Раскол не имеет, да и никогда не имел, серьезного значения, как оппозиционная общественная сила. Часто он действует прямо вредно, приучая человека к обрядности, к буквоедству, отвлекая его мысль от земных нужд к небесному блаженству¹. Но тяжелый жизненный опыт и потребность в чтении научили раскольников не бояться запрещенной книги и уважать людей, страдающих за свои убеждения. Землевозльцы «спропагандировали» на Волге молодого бегуна, очень способного парня. По их просьбе он написал воспоминания о своей жизни между раскольниками. Из этих воспоминаний я как сейчас помню то место, где он рассказывает о своей встрече с ссыльными поляками. Совсем еще ребенком ехал он с отцом из Тюмени в одну из внутренних губерний Европейской России. На дороге столкнулись они с партией поляков. «Что это за люди?» — спросил мальчик отца. — «А это, мой милый, поляки; их гонит царь не хуже нас грешных. Много горя принимают они от правительства». Эта способность сочувствовать *политическому* «преступнику» уже сама по себе может послужить залогом сближения с таким «преступником», а потом, — при благоприятных условиях, — и полного усвоения его образа мыслей. И это тем более, что между раскольниками встречаются страстные и беспокойные искатели истины, не способные надолго удовлетвориться сектантской догматикой. Я знал одного бывшего раскольника, который уже пятидесятилетним стариком пристал к революционной партии. Этот человек всю жизнь «ходил по верам», забредал даже в Турцию, ища между тамошними раскольниками «настоящих людей» и «настоящей правды», и, наконец, нашел искомую правду в социализме, распротаясь навсегда с небесным царем, и всей душой возненавидел царя земного. Я не встречал более страстного, более неутомимого проповедника. Часто вспоминал он, бывало, о каком-то расколоучителе, очевидно, имевшем

¹ *Примечание ко второму изданию.* Маркс недаром называл религию опиумом народа и говорил, что критика религии естественно превращается в критику общественных отношений.

на него прежде сильное влияние. «Эх, кабы мне теперь встретить его, — восклицал он, — я бы объяснил ему, что есть истина!» Он был душою рабочего кружка (где именно, не скажу, «страха ради иудейска»), и его нельзя было запугать никакими преследованиями. Он с самых юных лет знал, что хорошо «принять мученический венец» за свои убеждения. Кончил он Сибирью.

Повторяю, всюду, где интеллигенция давала себе труд сходиться с провинциальными рабочими, она могла похвалиться очень заметным успехом. А если бы делу сближения с рабочими она посвятила хоть половину тех сил и средств, которые потрачены были на «поселения» и на разные агитационные опыты в крестьянстве, то к концу семидесятих годов социально-революционная партия твердо стояла бы уже на русской почве. Рабочие охотно шли навстречу интеллигенции¹. И в Харькове, и в Киеве, и в Ростове-на-Дону мне постоянно приходилось слышать одни и те же жалобы, одни и те же просьбы: «интеллигенция забывает о нас; займитесь рабочим делом; пришлите из Петербурга хоть нескольких знающих, ловких людей, — вы увидите, как пойдет оно в нашем городе».

Ввиду этого как нельзя более своевременным являлось намерение Центрального кружка Северо-русского рабочего союза войти в правильные сношения с провинциальными рабочими. Между его членами были люди, которые и по знаниям, и по энергии, и по опытности могли поспорить с любым «интеллигентом». Таков был, например, Степан Халтурин.

Я уже несколько раз упоминал его имя, занимающее одно из самых почетных мест в истории русского революционного движения. Пора поближе познакомить читателя с этой замечательной личностью.

VI.

Степан Халтурин родился в Вятке. Его родители, бедные мещане, посылали его в детстве в какую-то школу, а затем отдали в учение к столяру. В начале семидесятих

¹ В шестидесятых годах в Саратове жил под надзором полиции впоследствии оставивший Россию А. Х. Христофоров. Он сблизился со многими местными рабочими. Они долго помнили его. В 1877 г. они рассказывали нам, землевозцам, что со времени его пребывания в Саратове в местной рабочей среде никогда не потухала зароненная им искорка революционной мысли. Люди, никогда не знавшие его лично, вели от него свою умственную родословную. Такой глубокий след оставляет в этой среде всякое доброе влияние!

годов он приехал в Петербург, где скоро нашел место на заводе. Не знаю, когда именно и при каких обстоятельствах захватило его революционной волной, но в 1875—1876 гг. он был уже деятельным пропагандистом. Если не ошибаюсь, в первый раз я встретился с ним дня за два до описанных в первой статье похорон убитых взрывом рабочих патронного завода. Я был в числе «бунтарей», приглашенных принять участие в задуманной по этому поводу демонстрации, он — в числе рабочих, подготовлявших демонстрацию. Он был из тех людей, наружность которых не дает даже приблизительно верного понятия об их характере. Молодой, высокий и стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами, он производил впечатление очень красивого парня; но этим дело и ограничивалось. Ни о силе характера, ни о выдающемся уме не говорила эта привлекательная, но довольно заурядная наружность. В его манерах прежде всего бросалась в глаза какая-то застенчивая и почти женственная мягкость. Говоря с вами, он как будто и конфузился, и боялся обидеть вас некстати сказанным словом, резко выраженным мнением. С его губ не сходила несколько смущенная улыбка, которою он как бы заранее хотел сказать вам: «я так думаю, но если это вам не нравится, прошу извинить». Такими манерами отличались иногда в доброе старое время молодые, благовоспитанные провинциалы на первых шагах своей светской карьеры. Но к рабочему она мало подходила, и во всяком случае не она могла убедить вас в том, что вы имеете дело с человеком, который далеко не грешил излишней мягкостью характера и недостатком самоуверенности.

Близко сойтись с ним можно было только на деле. Рабочему вообще некогда вдаваться в те бесконечные собеседования, которыми любит услаждаться «за чаем» «интеллигентная» публика, и в которых собеседники выворачивают друг перед другом всю свою душу. Степан же в особенности не любил душевных излияний. Хотя во внешнем обращении застенчивость его исчезала при более близком знакомстве с человеком, однако она всегда держала его настороже, делая для него совершенно невозможным то нравственное состояние, которое обозначается словами: «душа нараспашку». Побеседовать и он был не прочь, и притом не только со своим братом рабочим, но и с «интеллигентами». Пока он был легальным, он даже охотно селился по соседству со студентами и искал их знакомства,

заимствуясь у них книгами и всякого рода сведениями. Нередко за полночь засиживался он у таких соседей. Но и там он мало высказывался. Придет и поднимет разговор на какую-нибудь теоретическую тему. Хозяин оживится, обрадованный случаем просветить темного рабочего человека, говорит долго, вразумительно и по возможности «популярно», а Степан слушает, лишь изредка вставляя свое слово и внимательно, несколько исподлобья, посматривая на собеседника своими умными глазами, в которых по временам появляется выражение добродушной насмешки. В его отношении к студентам всегда была некоторая доля юмора, пожалуй, даже иронии: знаю, мол, я цену вашему радикализму; пока учитесь, все вы — страшные революционеры, а кончите курс да получите местечки, и как рукой снимет ваше революционное настроение! Подсмеивался он также над студенческим трудолюбием. «Видел я, как они работают, — говаривал он, — разве это работа! Посидит часа два на лекциях, почитает час-другой книжку, — и готово, иди в гости чай пить и разговоры разговаривать!» К рабочим он относился совсем иначе, подшучивать над ними не позволял ни себе и никому другому, в особенности «интеллигенции». Как огонь вспыхивал он, когда «интеллигент» делал при нем какой-нибудь не совсем лестный отзыв о рабочих. В рабочих видел он самых надежных, прирожденных революционеров и ухаживал за ними, как заботливая нянька: учил, доставал книги, «определял к местам», мирил ссорившихся, журил виноватых. Его очень любили товарищи. Он знал это и платил им еще большей любовью. При всем том не думаю, чтобы и в обращении с ними его покидала привычная сдержанность. Не знаю, как вел он себя с теми рабочими, которых привлекал к делу в революционных беседах с глазу на глаз. Может быть, тогда он и давал волю всему, что кипело у него на душе. Но на кружковых рабочих собраниях он говорил редко и неохотно. Только в тех случаях, когда дело не клеилось, когда собравшиеся говорили что-нибудь несообразное, или уклонялись от предмета сходки, Степан прорывался. Краснобаем он не был, — иностранных слов, которыми любят щеголять иные рабочие, никогда почти не употреблял, но говорил горячо, толково и убедительно. Его речью и исчерпывались обыкновенно прения. И не потому, чтобы его выдающаяся личность давила окружающих. Между петербургскими рабочими были люди не менее его знавшие и способные, были люди, больше его выдавшие на

своем веку, пожившие за границей. Тайна огромного влияния, своего рода диктатуры Степана заключалась в неутомимом внимании его ко всякому делу. Еще задолго до сходимки он переговорит со всеми, ознакомится с общим настроением, обдумает вопрос со всех сторон и потому, естественно, оказывается наилучше подготовленным. Он выражал общее настроение. То, что говорил он, сказал бы, вероятно, каждый из его товарищей, но они не так вдумчиво отнеслись к делу, — иные по лености, иные потому, что заняты были другими, может быть, даже гораздо более важными делами, а Степан ни к чему не мог относиться невнимательно. Не было такой ничтожной практической задачи, решение которой он беззаботно предоставил бы другим. Он приходил на собрание с совершенно установившимся взглядом на подлежащий обсуждению вопрос. Потому-то с ним и соглашались. А с другой стороны, потому-то он и досадовал, потому-то он и горячился, когда прения затягивались без толку: «ведь это же все так просто, — говорило его выразительное лицо, — неужели же вас могут затруднять подобные пустилки?»

Халтурин отличался большою начитанностью¹. Это вызвало невольное уважение к нему, но и эта черта не могла особенно удивить человека, знавшего заводских рабочих: страстные любители чтения вовсе не были редкостью между ними. При ближайшем знакомстве оказывалось, однако, что и читал Степан так, как умеют читать только немногие. Он всегда хорошо знал, зачем именно раскрывал такую-то книгу. К тому же *мысль* постоянно шла у него рука об руку с *делом*. У него, например, вовсе не было того интереса к естественным наукам, который замечается у многих рабочих. Все внимание его было поглощено общественными вопросами, и все эти вопросы, как радиусы из центра, исходили из одного коренного вопроса о задачах и нуждах нарождавшегося русского рабочего движения. О чем бы ни читал он, — об английских ли рабочих союзах, о великой ли революции, или о современном социалистическом движении, — эти нужды и задачи никогда не уходили из его поля зрения. По тому, что читал Халтурин в данное время, можно было судить о том, какие практические планы шевелятся в его голове.

¹ *Примечание ко второму изданию.* Он читал гораздо прилежнее и больше, чем огромное большинство известных мне тогда революционеров-практиков из «интеллигенции».

Еще задолго до организации «Северно-русского рабочего союза» он принялся изучать европейские конституции.

— Что это ты на них набросился? — спрашивали его.

— Да что же, ведь, это интересно, — отвечал он.

Программа Союза лучше его объяснила, почему он набросился на конституции: он обдумывал политическую программу русских рабочих. В умственном труде, как и во всем остальном, Халтурин был силен умением сосредоточиться на данном предмете, не отвлекаясь от него ничем посторонним. Ум его до такой степени исключительно поглощен был рабочим вопросом, что ему едва ли когда случалось заинтересоваться пресловутыми «устоями» крестьянской жизни. Он знакомился с интеллигентами, слушал их толки об общине, о расколе, о «народных идеалах», но народническое учение так и осталось для него чем-то почти совсем чуждым.

— Что ты пишешь теперь? — спросил он меня незадолго до своего поступления в Зимний дворец. Я ответил, что пишу разбор одной только что вышедшей книги по истории общинного землевладения. Это была очень серьезная книга, лично мне оказавшая огромную услугу, так как она впервые и очень сильно поколебала мои народнические воззрения, хотя я и спорил еще против ее выводов. Я был сильно заинтересован ею и подробно изложил Степану ее содержание. Он долго слушал, а потом вдруг сразил меня неожиданным вопросом: «да неужели это действительно так важно?» Община занимала самый почетный, передний угол в моем народническом мирозерцании, а он даже не знал хорошенько, стоит ли из-за нее ломать литературные копья!

Нелегко было бы мне теперь определить его тогдашние социально-политические взгляды. Тогда я сам смотрел на вещи далеко не так, как смотрю в настоящее время. Могу сказать одно: в сравнении с нами, землевольцами, Халтурин был крайним западником. Западничество развивалось и поддерживалось в нем как общими условиями исключительно интересной для него рабочей жизни столицы, так, может быть, отчасти и некоторыми случайными влияниями. С лавристами он познакомился раньше, чем с бунтарями, а лавристы умели, как уже сказано, возбудить в рабочих интерес к немецкому социал-демократическому движению. К тому же двое из близких товарищей Степана долго работали за границей, и западное влияние распространилось через них как лично на него, так и на весь Союз.

В Петербурге родственников у Степана не было. Жил он всегда одиноко, занимая небольшую комнатку на манер студенческой кельи. К обстановке и одежде своей он относился с равнодушием, достойным самого «интеллигентного» нигилиста. Высокие сапоги, широкое, слишком длинное даже для его высокого роста пальто, на котором недостает нескольких пуговиц, довольно неуклюжая черная меховая шапка, — вот в каком костюме воскресает он теперь в моем воображении. Особого наряда для воскресенья у него, вопреки обычаю всех заводских рабочих, не полагалось. Разговорясь о деле где-нибудь в трактире или в портерной, он охотно выпивал бутылку-другую пива, но вряд ли когда принимал участие в веселых товарищеских пирушках. Других рабочих мне случалось иногда встречать подкутившими. Его — никогда.

И, однако, этот сдержанный, практичный человек был, если хотите, большим мечтателем. Его мечты постоянно и далеко опережали действительные успехи русского рабочего движения. Довольно долго мечтал он об одновременной стачке всех петербургских рабочих. Такая мечта была, разумеется, несбыточной. Но и она принесла свою пользу: Степан неумоимо носился из одного предместья в другое, везде заводил знакомства, везде собирал сведения о числе рабочих, о заработной плате, о продолжительности рабочего дня, о штрафах и т. д. Его присутствие везде действовало возбуждающим образом, а сам он приобретал новые драгоценные сведения о положении рабочего класса в Петербурге. Задавшись мыслью о всеобщей стачке, он по своему обыкновению стал искать подходящих указаний в книгах. Ему нужно было узнать численность петербургского рабочего населения. Но статистика очень мало дала ему в этом отношении. «Удивительное дело, — не раз говорил он мне, — статистические данные о петербургских фабриках и заводах совсем никуда не годятся. Там, где на самом деле триста рабочих, их показано пятьдесят, там, где пятьдесят — записано сто или двести. И вообще в Петербурге несравненно больше рабочих, чем считает статистика». Как же помочь горю? «Мы сами соберем нужные данные лучше всяких статистиков», — решил Степан и принялся разносить по фабрикам и заводам особые листки, требуя от знакомых рабочих, чтобы те вписывали точные ответы на поставленные в листках вопросы. Конечно, не все отвечали обстоятельно, многие и вовсе забывали ответить. Но через короткое время у Степана все-таки собра-

лось множество данных. Относительно некоторых фабрик он хвалился мне, что ему удастся точно высчитать все расходы и все доходы хозяев и таким образом определить степень эксплуатации работников. Относящиеся сюда выводы он собирался напечатать в отдельной брошюре.

Очень увлекался он также мечтами о будущей всероссийской рабочей организации. Когда он заговаривал о ней, собеседнику под влиянием его горячей веры невольно начинало казаться, что препятствия уже устранены, связи повсюду заведены, организация существует и остается только работать для ее дальнейшего развития. Но и в этих мечтах не было ничего маниловского. Еще летом 1878 г., за несколько месяцев до основания Северного союза, Халтурин отправился на Волгу, переходил там с завода на завод и вступил в тесные сношения с тамошними рабочими. Собирался он пробраться и на Урал, но петербургские товарищи убедили его вернуться в Петербург. Он там был слишком нужен.

Тотчас по основании Северного союза возникла мысль об издании рабочей газеты. Автор статьи *«Пребывание Халтурина в Зимнем дворце»*¹ приписывает эту мысль исключительно Степану. Он ошибается. Кому принадлежала мысль об издании «Земли и Воли»? Всем землевольцам вообще и никому в частности. То же приходится сказать и относительно предполагавшегося издания рабочей газеты. Потребность в ней давно уже чувствовалась рабочими. Выходившая в 1875 г. в Женеве анархическая газета «Работник» была первой попыткой удовлетворения этой потребности. Изданием «Работника» деятельно интересовались многие из рабочих, вошедших потом в «Северно-русский рабочий союз». Когда землевольцы завели тайную типографию в Петербурге, мысль о рабочей газете приняла новую форму. Стали говорить, что орган русских рабочих должен печататься в России. Возрастающие успехи рабочего движения делали его все более и более необходимым. Вопрос о нем стал очередным вопросом. При этом Степан был молчаливо и единогласно признан редактором будущей газеты. Таким образом он стал головою дела, почин которого принадлежал всему Союзу.

Будущий редактор держался того мнения, что газета должна иметь чисто агитационный характер. У Союза было много связей в рабочем мире. В достоверных сообщениях

¹ В календаре «Народной Воли».

о темных сторонах фабрично-заводского быта недостатка быть не могло. Появление их в печати сочувственно встретили бы все рабочие. Таким сообщениям и должно было принадлежать главное место на столбцах газеты. Авторам передовых статей оставалось бы лишь надлежащим образом освещать эти непосредственно из жизни взятые материалы. С распространением организации на провинциальные города явилась бы возможность обеспечить себе иногородные известия. Все это было очень практично, и казалось бы, что общество «Земля и Воля» должно было всеми силами поддерживать задуманное рабочими предприятие. Землевольтцы много сделали для развития рабочего движения в России. Отстраняться от него теперь, когда оно стало так быстро расти и крепнуть, было бы по меньшей мере странно. Они и не отстранялись от него сознательно, но незаметно для них жизнь придавала их деятельности совершенно новый характер. Им некогда было думать о рабочей газете.

VII

Уже к весне 1879 г., т. е. в то время, когда Севернорусский рабочий союз насчитывал едва несколько месяцев существования, общество «Земля и Воля» из *бунтарского*, каким оно было прежде, наполовину превратилось в *террористическое*. Те из его членов, которые остались верны старой программе, жили большей частью в «народе», в «поселениях», раскинувшихся в разных местах нижнего и среднего Поволжья, на Дону, в Воронежской и Тамбовской губерниях. Большинство же живших в Петербурге землевольтцев с ревностью новообращенных стояло за террористическую деятельность, или, как тогда выражались, за *дезорганизацию правительства*. «Рабочее дело» никем не отрицалось в принципе. Но на деле посвящавшиеся ему силы и средства стали убывать очень и очень заметно. Многие молодые революционеры, начавшие свою деятельность «занятием с рабочими», оставили это занятие под влиянием проповедывавших «дезорганизацию правительства» землевольтцев. Революционное движение интеллигенции принимало, несомненно, более *острый характер*, но русло его все более и более *суживалось*. О вовлечении в борьбу *народной массы* переставали думать. Задача движения сводилась к единоборству между *правительством* и революционной *интеллигенцией*. В апреле 1879 г., за несколько дней до

выстрела Соловьева, мне пришлось оставить Петербург, и я передал «сношения с рабочими» покойному Ширяеву. Вернувшись осенью того же года, я застал Халтурина в сильном негодовании против интеллигенции вообще, а против нас, землевольцев, в особенности. «Человек, с которым ты познакомил меня перед своим отъездом, — говорил он, — был у нас один раз, обещал доставить шрифт для нашей типографии, а потом исчез, и я не видался с ним два месяца. А у нас уж и станок сделан, и наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шрифтом. Да и кроме шрифта есть важное дело, нужно переговорить с кем-нибудь из ваших, а где искать их — неизвестно»¹. Я был уверен, что явившееся у Степана новое важное дело относится, как и всегда, к рабочему движению. Вышло не так.

С самого основания своего Северно-русский рабочий союз поставлен был террористической тактикой интеллигенции в довольно затруднительное положение. С каждым новым террористическим актом росли полицейские строгости, умножались обыски, аресты и высылки. Для нелегальных революционеров этот белый террор до поры до времени был почти совершенно безвреден, так как им удавалось скрывать свои следы от самых опытных сыщиков. В ином положении были легальные революционеры, чем-нибудь успешные обратив на себя неблагосклонное внимание синего начальства. Они должны были готовиться к самым неприятным неожиданностям. В рабочем союзе *нелегальных* было немного: кроме Халтурина, нелегального с 1878 г., еще, может быть, два-три человека. Но зато многие, — и часто самые деятельные, опытные и влиятельные, — *легальные* члены его давно уже находились у полиции на дурном счету. Им плохо приходилось от белого террора. Их хватали, держали в тюрьмах, высылали. Подобные потери тяжело отзывались на неокрепшей еще организации, и неудивительно, что Северно-русский рабочий союз сначала очень неодобрительно относился к новому приему революционной борьбы. «Чистая беда, — восклицал Халтурин, — только-только наладится у нас дело, — хлоп! шарахнула

¹ При тогдашнем положении дел — выезд из Петербурга всех «нелегальных» землевольцев (а таких было большинство) перед выстрелом Соловьева, суматоха, вызванная летними революционными съездами в Липецке и Воронеже, и, наконец, совершившееся осенью формальное разделение общества «Земля и Воля» — трудно было винить Ширяева за его халатность. Но Халтурин не знал этих смягчающих обстоятельств, и потому досада его совершенно понятна.

кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!» Но революционный террор все усиливался; усиливался и белый. Провалы учащались. Выстрел Соловьева довел полицейские строгости до неслыханной степени. Вместе с тем он же указывал, повидимому, и выход из невыносимого положения. Падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали думать и рабочие.

Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. «Что ж, поступай, — заметил один из них, — кстати уж и царя прикончишь». Это было сказано в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьезно задумались о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать, да разузнать получше о предлагаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, причем он тут же, вероятно, решил, что если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется. А подумать ему было о чем. Как ни жутко приходилось Союзу от белого террора, но его положение все-таки было совсем не безнадежно. Это доказывал уже тот факт, что, несмотря на полицейские строгости, рабочие могли сделать почти все необходимые приготовления к изданию своей газеты. Сношения с провинциальными городами только что начинались и, опять-таки несмотря на все строгости, сулили успех. Намеченные полицией члены Союза высылались один за другим, но на их место являлись новые, *не* намеченные, которые при осторожном ведении дела могли продержаться довольно долго. Новое покушение на жизнь Александра II в случае неудачи, наверное, причинило бы Союзу новые потери, тем более, что самому Халтуруину приходилось идти почти на верную смерть. Он знал, какое расстройство внесет его гибель в дела Союза. Но все эти соображения не устояли перед одним: смерть Александра II *принесет с собою политическую свободу*, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться¹. Степан недолго колебался. Доступ во дворец был обеспечен. Оставалось заpastись взрывчатыми веществами.

Как вел себя Халтурин в Зимнем дворце, рассказано

¹ Подлинные слова Халтурина.

в календаре «Народной Воли»¹. Читателю известно, вероятно, какую смелость и какое самообладание проявил он там. Арест Квятковского, у которого найден был план Зимнего дворца, поставил Халтурина, по словам автора рассказа, «в истинно каторжное положение». На взятом у Квятковского плане царская столовая была отмечена крестом, и это обстоятельство заставило дворцовую полицию подозрительно относиться к столярам, жившим в подвальном этаже, как раз под столовой. В одной комнате с Халтуринным поместили жандарма; дворцовую прислугу часто и неожиданно обыскивали; динамит приходилось хранить под подушкой; предприятие, а с ним и жизнь Степана, постоянно висели на волоске. С поразительным хладнокровием обошел он все трудности, преодолел все препятствия, и когда приготовления были окончены, когда уже зажжен был роковой фитиль, он «просто восхитил Желябова» тем спокойствием, с которым произнес, «словно фразу из самого обычного разговора», многозначительное «готово». Только последующее его состояние показало, как страшно был он измучен. Придя после взрыва на приготовленную для него конспиративную квартиру, «усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно справился, есть ли в квартире достаточно оружия. «Живой я не отдамся», — говорил он».

«Известие о том, что царь спасся, подействовало на Халтурина самым угнетающим образом. Он свалился совсем больной, и только рассказы о громадном впечатлении, произведенном 5 февраля на всю Россию, могли его несколько утешить, хотя никогда он не хотел примириться со своей неудачей»². Не того ожидал он от своей попытки...

После 5 февраля он продолжал действовать более двух лет. Пробовал он вернуться к своему любимому «рабочему делу». Но логика раз принятого способа действий ставила свои неотразимые требования. Степан снова пошел на «террор». Известно участие его в убийстве Стрельникова. Он умер на виселице 22 марта 1882 г. При аресте он храбро защищался вооруженной рукой.

Вскоре по поступлении Халтурина в Зимний дворец я вынужден был оставить Россию. С тех пор о ходе русского рабочего движения я мог знать только по рассказам действовавших после меня товарищей. Автор статьи

¹ «Халтурин в Зимнем дворце».

² «Календарь», историко-литературный отдел, стр. 48.

«Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» говорит, что Северно-русскому рабочему союзу удалось-таки приступить к изданию газеты, которая, однако, вместе с типографией была заарестована при наборе первого же номера и не оставила по себе ничего, «кроме памяти о попытке чисто рабочего органа, не повторявшейся уже потом ни разу»¹. Затем прекратилось и самое существование Союза. Повидимому, на его судьбе отразились программные разделения тогдашней интеллигенции. Несомненно, по крайней мере, что уже в 1880 г. появляются между петербургскими рабочими сторонники партии «Народной Воли» (см. программу рабочих этой партии, опубликованную в ноябре 1880 г.) и сторонники «Черного передела». В восьмидесятых годах в разное время издавалось в России несколько рабочих журналов: «Рабочая газета» (с 15 декабря 1880 г. до конца 1881 г.), «Зерно» (приблизительно около того же времени), «Рабочий» (в 1885 г.). Правда, рабочие были только читателями этих журналов, редактировались же они «интеллигенцией», но это было, что называется, только полгоря. Во второй половине восьмидесятых годов перестали появляться в России⁹ и такие издания. Наступило, казалось, полное затишье. Но раз зажженный огонек мысли не погас в рабочей среде, как об этом свидетельствует даже легальная печать. Почти совершенно оставленный интеллигенцией рабочий продолжал расти умственно и нравственно. Уже в конце восьмидесятых годов Г. И. Успенский мог поздравить русских писателей с «новым грядущим читателем». Недалеко то время, когда «интеллигентных» противников царизма можно будет поздравить с новым, незаменимым и непобедимым *политическим союзником*.

Когда наша революционная «интеллигенция», чувствуя недостаточность своих сил, спрашивает себя, где искать поддержки, ее доброжелатели дают ей часто довольно странные ответы: «в обществе», в офицерской среде и т. п. и т. п. О рабочих такие доброжелатели интеллигенции вспоминают редко и неохотно. О вкусах, конечно, не спорят, но факт тот, что русские рабочие внесли в освободительное движение последних двадцати лет несравненно больше сил, чем почтенное военное сословие, или — в особенности — наши милые, добрые, развитые, гуманные, образованные, но решительно никуда не годные либералы. А ведь

¹ Автор относит эту попытку ко времени, предшествовавшему по-
ступлению Халтурина во дворец. Но это ошибка.

до сих пор совершились только первые, правда, самые трудные, но зато и самые слабые шаги нашего рабочего движения. Что же будет дальше? Людям, претендующим на политическую дальновидность, не мешало бы подумать об этом.

История давно и безвозвратно осудила русский царизм. Но он существует и будет существовать до тех пор, пока та же история не заготовит достаточно сил для исполнения своего приговора. Она деятельно заготавливает их, беря их отовсюду. Пролетариат — самая могучая из создаваемых ею новых общественных сил. Пролетариат — это тот динамит, с помощью которого история взорвет русское самодержавие.

Но рабочему классу не годятся старые, более или менее фантастические революционные костюмы интеллигенции. Наши рабочие, уже в *семидесятых* годах видевшие слабые стороны *народничества*, в девяностых годах сознательно станут под знамя всемирной рабочей партии, под знамя *социал-демократов*.

Пусть же поскорее наступает эта счастливая пора! Много света внесет она в нашу темную жизнь!

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. От Издательства	3
2. Лицам, произнесшим речи на собрании петербургских рабочих, состоявшемся по поводу всемирной демонстрации 1 мая	5
3. Предисловие ко второму изданию	6
4. Русский рабочий в революционном движении (по личным воспоминаниям)	
I	11
II	16
III	31
IV	71
V	75
VI	83
VII	90

Г. В. Плеханов. — Русский рабочий в революционном движении.

Политиздат при ЦК ВКП(б). 1940 г.

Изд. № 1793.

Под наблюдением редактора *Е. Финлиссеп.*

Технич. редактор *Е. Женин.* Корректор *Л. Саксаганская.*

Сдано в набор 29/VIII 1940 г. Подписано к печати 16/X 1940 г.

Формат 84×108/32. Объем 1¹/₂ бум. л., 6 печ. л., 5,31 уч.-изд. л., 36608 тит. знаков в печ. л. Тираж 100000 экз.

М. 3920.

Цена в переплете 1 руб. 50 коп.

Бумага Горьковской ф-ки. Заказ № 530.

2-я типография ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкинг» «Печатный Двор»
им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.